Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ
с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 3

2015

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Мензер НИЯРЛЫ. **Прерванный отпуск.** *Повесть* 39
Гюльшан ТОФИК ГЫЗЫ. *Рассказы* 73
Ляман БАГИРОВА. *Рассказы* 80
Хиджран ГУСЕЙНОВА. **Странная мечта.** *Рассказ* 95
Елена АНДРЕЕВА. *Рассказы* 107
Александр ГЛАДКОВ. **Праздничное.** *Юмореска* 128
Леонид ЗАЦ. **Cherchez la femme.** *Юмореска* 130

ПОЭЗИЯ

Эльберд ТУГАНОВ. *Стихи* 33
Валентина ЭФЕНДИЕВА. *Стихи* 67
Елизавета КАСУМОВА. *Стихи* 96
Елена АНДРЕЕВА. *Стихи* 103

ПУБЛИЦИСТИКА

Натаван ФАИГ. **«…На сумрачной плоскости стены угасло окно…»** 3
Исмаил КЯЗИМОВ. **Великие возвышаются в океане** 63
АНАР. **Издатель** 101

Главный редактор – **Солмаз ИБРАГИМОВА**

Зам.главного редактора – **Елизавета КАСУМОВА**
Литсотрудники – **Диляра БАБАЗАДЕ, Егана МУСТАФАЕВА**
Отдел прозы – **Надир АГАСИЕВ**
Отдел поэзии – **Алина ТАЛЫБОВА**
Отдел публицистики – **Ровшэн КАФАРОВ**
Отдел подписки и рекламы – **Джамиля ШАРИФОВА тел: (055) 846-98-49**
Компьютерная верстка – **Натаван ХАЛИЛОВА**
Корректор – **Анна КУЗЁМКИНА**

Редакционная коллегия: **Эмиль АГАЕВ, Кямаля АГАЕВА, Гюльрух АЛИБЕЙЛИ, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелаля ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос-Анджелес, США), Максуд ИБРАГИМБЕКОВ, Динара КАРАКМАЗЛИ, Сиявуш МАМЕДЗАДЕ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ**

Литконсультант – **Натиг РАСУЛЗАДЕ**
Ответственный секретарь – **Эльдар ШАРИФОВ-СЕЙШЕЛЬСКИЙ**

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г в Министерстве
печати и информации Азербайджанской Республики
Регистр. № 352

Адрес редакции:
AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53
Электронный адрес: litaz@box.az
Тел: 493-75-81

Подписано в печать 19.02.2015 г.
Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16
Печать офсетная, 8.25 печ. л.
Тираж 400
Отпечатано в типографии «OL»NKPT MMC
Тел.: 497-36-23
Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Ранее опубликованные произведения редакцией не рассматриваются

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «OL»NKPT MMC

© «Литературный Азербайджан», 2015 г..

НАТАВАН ФАИГ

«…НА СУМРАЧНОЙ ПЛОСКОСТИ СТЕНЫ УГАСЛО ОКНО…»

К сороковинам Вагифа Самедоглу…

Не стало…

Вот ведь как бывает, знала что болен, серьезно, знала, что, возможно, скоро его не… Боялась даже заходить на информационные сайты – чтобы не… Знала. И, тем не менее, весть эта всегда, как гром среди ясного неба! Да и где она – ясность-то? Нет ее.

Небо – оно всегда непредсказуемо…

Вагиф это знал… Оттого и боялся их, однозначных ответов…

Мир, неразделенный на белое и черное… Мрак и тьму…

Есть такая категория людей, я про себя называю их «эксклюзивными». Нешаблонные, не вмещающиеся в проторенные трафареты. Речь не о том, что они лучше, а кто-то хуже. Они другие. Это как диагноз. И мыслят, дышат и пульсируют они на ином уровне. И температуру здесь не измеришь шкалой привычного термометра. Они всегда – точки отсчета, отсчета того, чего без них, без их прихода в этот мир, не было и быть не могло. Таковы мои ощущения этого человека…

Ненавижу смерть по многим причинам. Одна из них – необходимость писать некрологи. Вынужденность из самых страшных – вопреки отпору внутри, на грани крика и стона…

Так случилось, что я общалась с ним. До последних дней. Писала книгу о нем… Кляну себя – в который уж раз – за нерасторопность… «Чуть помедленнее, кони!», кричала внутри себя, поглядывая на часы и моля стрелку секундомера… Книга писалась наперегонки со смертью, которая так и норовила обскакать…

Жизнесмертельнее интервью в моей жизни – не было…

Есть художники, в творческий «портрет» которых входит не только список созданных ими произведений, но и что-то еще, чему и названия не подберешь. Некая надтворческая составляющая, некий шарм, который при упоминании имени становится доминирующим в возникновении образа. Поди докопайся до его ОТ и ДО… Их нет. Не просто «специалист в своем деле», или даже эксперт, а – родоначальник нового мышления, внесший вклад не только в национальную культуру, но и наше подсознание.

Вагиф Самедоглу. Вольнодумец всех времен, во всяком случае, мне известных, тех, что в пределах моей биографии. Этакий «расширитель сознания» – речь идет о Знании, том самом, глобальном, почти ныне утраченном, ничего общего не имеющем с той круглосуточной «осведомленностью», кою демонстрируют сегодняшние «эрудиты», в том числе в телеэфире.

Иначество – вот что привлекало в первую очередь. «Не такой как все». Мы часто говорим это про кого-то, по большому счету на характеристику сию мало тянущего. А тут… Не просто народный поэт, а – всецелая противоположность, такой себе антистереотип. Вулкан, который не смертоносен, а как раз наоборот…

Давно хотела встретиться с ним, дважды договаривалась по телефону, не получа-

лось. Он даже книгу свою мне, тепло надписанную, переслал. Было это 4 года назад. Ну никак не получалось разгрузиться и пойти. Глупо, знаю… А творчество – это то, что удается сделать между дурацкими проблемами. Или не удается. Потому что дурость всегда побеждает важность…

Труден он и ухабист, путь к Истине.

Но не только обстоятельства в том повинны. Что-то останавливало, буквально на пороге его дома. Останавливала неуверенность – потяну ли? Возвращалась к себе, не выходя, – дозревать. Жалкое положение беспомощного интервьюера, игра в догонялки с умным видом «понимателя», бесконечно кивающего в знак единогласного согласия и украдкой поглядывающего на часы. Грустная перспектива сей участи сдерживала порывы любви. Да-да, любви – иного родственника так не любишь…

А тут – вызывает меня Анар: «Зайди, пожалуйста, жду». Пошла.

«Есть у меня друг, самый близкий мне человек в жизни, Вагиф Самедоглу. Сделай книгу о нем – юбилей у него, 75, да и приболел что-то… Я знаю – ты ведь давно мечтаешь об этом…»

Перекопав содержимое своего подсознания и отринув одолевавшие комплексы, решилась-таки на «рандеву».

«Книгу?! – удивленный голос в трубке. – Я слаб очень, не смогу подолгу…»

«Я смогу, не волнуйтесь…»

Наобещала и задумалась, хотя…

Временной регламент, диктующий свои условия, – он меня не смущал. Знаю, каково это – работать в его экстремальном графике. Были, были у меня «подвиги», которыми сегодня горжусь. В числе личных рекордов – с Сергеем Безруковым полосное интервью за 15 минут, с Ростроповичем книга – за час, с Анаром за два… И, тем не менее, лимит лимиту – рознь…

Я шла – нет, бежала к нему со своим скудным набором впечатлений.

Обрывки песенных стихов, поразившая афористичностью мысль, умение создать внутри себя бесконечно притягательную ауру… Знала, что не похож ни на кого – джазмен, поэт, драматург… Автор грустных стихов и смешных пьес. И не только смешных… Знала, что обожает всякую живность, держит двух собак – не раз воскресным утром видела его у Тезе базара, подолгу простаивающего у клеток птах и пичуг. Корм им покупал, своим попугаям. С трудом удерживалась, чтобы не подойти...

Боялась – не подойти...

А интересно, почему попугаи? Они ведь само воплощение плагиата, тогда как он – ходячий эксклюзив... Неподражаемый рассказчик анекдотов, превосходный кулинар и... человек с ружьем, любящий поблуждать с винтовкой по лесам-болотам...

Не совсем внятный, но очень обаятельный образ его жил во мне.

И – манил…

Я лихорадочно искала точки соприкосновения, биографические, что ли, с ним «общности». Их оказалось не так уж и мало, и отыскались они довольно быстро. Что меня утешало и подбадривало.

…У обоих – консерватория за плечами.

«Я по синему диплому числюсь концертным исполнителем и преподавателем фортепиано. И еще я член Союза писателей Азербайджана», – говорит он о себе. Будто про меня – один в один.

…«По синему диплому…»

Да вот же она – точка отсчета нашей будущей встречи, дающая мне Шанс! Шанс на взаимопонимание. Окрыленная, стала искать дальше…

…Он всю жизнь пишет о смерти, да и у меня половина из написанного – некрологи… Добрая половина. Или недобрая…

...Музыкантское прошлое и – активное нежелание продолжать преподавательскую деятельность по причине отсутствия педагогического терпения. Такое было и в моей жизни...

...Ну а то, что смешано у него все – день с ночью, свет со тьмой... Небо сомкнул с землей – не просочиться... Нет в том никакой демонизации, мне это понятно, быть может, как мало кому: я человек, который в свой день рождения слышит Allah rəhmət eləsin – после смерти брата-близнеца... От всех поздравляющих... С утра и до вечера...

...И так же, как Вагифу, «брат мне снится, рано ушедший, которого мне, порой до физической боли, не хватает»... Брат, который был также еще и прозаиком...

...А еще у меня такой же беспорядок на письменном столе, которым не пользуюсь... Читая об этом у его жены, удивилась – будто мой стол описывает, его содержимое. Кроме сигарет и трубки – так же люблю, чтоб все под рукой... И так же пишу на коленке, сидя в кресле...

...Так же, как он, подвержена упаднническим настроениям...

...Так же развожу попугаев, да и кошки с собаками у меня не переводятся...

...А еще мы оба диабетики... И – «фанаты» Шопена...

Страшно гордая собой, я продолжала «сравнительный анализ».

...Как и у него, Самедоглу, у меня все лучшее связано с дачей, что осталась в детстве – пусть и беззаборная, но такая отчаянно счастливая пора жизни...

...Так же обожаю запах канцелярский, вдыхать блокноты, тетради... Парфюм идет на втором месте – особенно люблю старые, покоричневевшие...

...И также боготворю одиночество...

...А еще мы оба носим имена поэтов... великих гарабахцев...

...Продолжая список «совпадений», – отцов потеряли в мае, сестра его ушла в 2009, как и мой брат... Неспроста все это.

...А еще мой родной дядя был художником в фильме его брата, Юсифа Самедоглу, «День казни»... Последняя его работа. К слову, тоже Вагиф...

Пересечения... Я собирала их по крупицам, чего-то себе доказывая...

...А еще мы оба дружили с Рафиком Кулиевым...

...Оба родились 5 числа... Чахлый козырь, понимаю, из пальца высосанный, ну уж очень хотелось в «орбиту» попасть. Орбиту Мастера.

...А еще я люблю приврать, и чрезвычайно обрадовалась, прочитав у него: «я врал, но не обманывал»...

... Да, еще мама моя вспоминала, как студенткой ходила хоронить Самеда Вургуна – прощание было в филармонии, а очередь она занимала от Академии наук – до того длинная была...

Я продолжала скрупулезный поиск с целью приличествовать моменту...

... Чуть не забыла, оба мы, я и он, были студентами профессора консерватории Нигяр ханым Усубовой, незабвенной...

Интервьюер – это тот, кто залезает в души и головы людей... Непросто это было – говорить обо всем, без четко обозначенной темы, да еще – с кем...

Вагиф, с его избыточностью... «Исключенец»... Это когда ответ – непременно с привкусом неизвестности... И при этом – не сбившийся на позу...

И вот он наступил, час, когда я, переполненная безмерной радостью от обнаруженных «перекрещиваний»... Она понятна, радость, дающая надежду на возможность хоть мизерного познания его – Человека, который имеет полное право на это звание.

Такой вот нехилый «бэкграунд», как мне тогда в наиве казалось, более чем достаточный для встречи с ним.

Набравшись храбрости, постучала к нему в дверь...

Он сидел на диване в расшитом золотом аракчыне, попыхивая трубкой, смотрел

впереди себя. И не было ему скучно одному…

Породистая голова, взгляд пронзающ и прощающ в одно и то же время. Взгляд насквозь, от которого не бывает неловко. Наоборот, к нему тянешься. К его иронии неискоренимой, а еще больше – самоиронии. Все страшное в твоей жизни перестает видеться таковым – он убирает его одному ему ведомым «лазером», гарантирующе неболезненным… Не уничижая. Человек с благодатью внутри, даже когда негативит по самое нехочу… Излучающий Познание и – бесконечно импонирующий.

Непросто было – общаться с ним – на пороге… С человеком, который не только все знает про тебя, но и просчитывает твою реакцию – на себя… В мою задачу входило не просто взять интервью с последующим включением его в книжку о нем, но и… развеять его. Хотя бы самую чуточку. Чтоб почувствовал, что все – как и прежде, и что выглядит он, как всегда, да и сам настрой – как в обычной беседе с людьми, полными жизненных сил и устремлений в будущее. Я все время боялась выдать свою тревогу, боялась, что он почувствует, прочтет в моих глазах… Старалась как могла… хоть и нелегко оно было…

«Тяжело больной поэт празднует свой день рождения».

Помню, как вздрогнула, наткнувшись на одном из сайтов…

А вот на другом: «Заболевший раком Вагиф Самедоглу отправляется на лечение в Израиль»…

Трудно мне пришлось, врагу не пожелаю… Мажорить было глупо, минорить бестактно… Вагиф – он меж…

Аномальный он…

Или – атональный…

… Сидит рядом с тобой и смотрит туда, где тебе ничего не видно.

Взгляд из полутьмы храма…

Иной раз его «ответы», трехточковые, несли нежелательный «стоп-кадр» в беседе, которого я страшилась больше всего.

Вопрос, что не в ладу с ответом…

Разговор рвался то и дело, повиснув клочьями… Разговор с «рваными краями»…

Такой она получилась – словесная партитура Вагифа Самедоглу, вся в паузах и многозначных недосказанностях… Вся в – безответных вопрошаниях. В какой-то момент я даже забывала, кто у кого берет интервью… Я-то пришла к нему за ответами – в своей «турбулентности» ища хоть какие-то оплоты, он же утопил меня окончательно! В своих размытых истинах, своей «теории нечеткой логики», как я про себя ее назвала…

Спасибо Музыке, которая не дала затонуть…

…«Я по синему диплому…»

Помню, послала ему в Израиль одну из глав. «У порога распоротой ночи» – так называлась она строчкой из его стихотворения, написанного чуть ли не в юности…

И вот он – ответный звонок Вагифа: «Ну ты даешь! Очень понравилось! Правда, я там такой ууууумный получился… Прям философ… Великолепная статья – как приеду – увидимся!»

Скромность. Как она была свойственна ему…

Бывают люди в этой жизни, а бывают – вечности. Это видно невооруженным взглядом. Они бессуетно снисходительны, не ошибешься уже при первой встрече. Те же, другие, остро лимитированные временными рамками, вечно куда-то несутся. И рявкают…

Нету их, утишенных. Куда больше совсем других, с неадекватным уровнем притязаний. *Ска́чи* много вокруг, громкие какие-то, супергероистые… Вышагивающие, трескучие… Посреди кичухи, толпы бьющих себя в грудь в потугах выдать оригинальность, посреди этого круглосуточного его величества «перфоманса» – он выглядел скалой. Скалой молчания. И – понимания…

Да, и еще – отношение к жизни. Как к забаве…

Тишина. Та самая, почти недостижимая… Когда слышно, как падает снег… Он любил ее. Знал, наверно, что лишь молчанием можно достичь Бога – может, оттого мы летаем во сне… А криком – сильно вряд ли… Бог его и не слышит, крик, в нашем визгливо-рекламном Сегодня, скорее всего, слышней молчащий…

Перелистываю вехи жизни В.Самедоглу…

Среди прочего нахожу: на 3 фестивале молодежи Азербайджана стал лауреатом, исполнив произведения Баха, Прокофьева, Рахманинова. Там же первое место по вокалу получил Муслим Магомаев – к своему 20-летию… Было это в июле 1962 года…

«Стал лауреатом… Прокофьев… Бах»… Через запятую как бы.

И никакого тебе – «Шок! Шок! Шок!»

Как-то даже написал слова к кантате. «Torpağın səsi» – так она называлась. Слова – к партитуре! Обычно бывает наоборот…

А на вопрос – «что делать?» отвечает:

«Быть атеистом и верить в Бога. Любить и презирать Жизнь. Наполнять внутреннюю пустоту собою».

Человек, пришедший к нему, и вышедший от него – два разных человека.

Как сохранить аутентичность в условиях всеобщей интеграции, как избежать волны глобализма, диктующей свои условия – сколько сегодня ломается копий на эту тему! И никто не говорит об аутентичности личности, ее способности, что ли, не «ксерироваться». Оглядываюсь по сторонам. Людей нет, одни статусы. Биомеханические роботы вокруг. Пленка ну на всех. Знаешь, что скажут, еще не войдя, знаешь, что ответят, знаешь, как посмотрят…

А тут…

… Пустой рукав пиджака инвалида
ночью полон…

… На сумрачной плоскости стены
угасло окно…

… Молния сверкнула,
как резкий росчерк пера диктатора…

…воспоминания мечутся,
оседлав мое одиночество, как коня…

Отсутствие человека в человеке. Впрочем, еще Бодлер говорил о механизации жизни, обездушенности ее… Нехватка эмпатии как примета дня. Яростная примета…

А тут…

Когда я умру,
Ни памятника,
Ни надгробья
Не ставьте
На могилу мою.
Поставьте туда пару башмаков,
Пусть разутый обуется и уйдет…

Вагиф Самедоглу – это еще одно из обстоятельств, когда можно сокрушаться об

утрате масштаба – и не только творческого...

Он не из тех, кто мудрый, оттого что пессимист. Отнюдь. Здесь минусовая энергетика отсутствует априори. Тут другое – свет, тот самый, бьющий в глаза лучом обаяния. Из тех, кто уронит фразу в пространство, проходя мимо тебя, а ты потом думай над ней всю жизнь… И улыбка такая, что не поймешь – над миром насмехается или на себя плюет…

Стоит на верхушке мира и все-все видит.

Видеть обе стороны медали... Дар это или проклятье? Как знать…

А может, в имени дело? Вагиф – «всезнающий» его значение. А еще говорят, что все невозможно знать глубоко, хотя…

Знание Вагифа – оно какое-то… доутробное. (И не только генетика в том повинна, сдается мне, – сотни опровергающих примеров приходят на ум в связи с этим. Как часто у гениев рождаются гении – вопрос из явно дискуссионных, историческая статистика скорее опровергает сей постулат, нежели… Куча поговорок на этот счет или оговорок. Генетика это всего лишь предрасположенность, тогда как талант – всегда! – невзначайность. Хотя и скидывать ее, генетику, со счетов было бы неправильно)… Пронес он его бережно, не исказив скверной дня, в альтернативах войны и мира, противостояния света и тьмы… И тут можно говорить о другом: как же повезло Самеду, что попало оно, его Знание, в надежные руки – поистине Вургун был счастливым человеком!

… Весьма своеобычная манера отвечания на вопрос – как бы параллельно. Не сразу поняла, что и не ответ то вовсе, а некие высверки чего-то очень важного на тот момент… Порой это было похоже на разговор слепого с глухим. Но, как ни странно, и как оно нередко происходит в жизни, из этого «недопонимания» и рождается Диалог.

Его «ответы» – они всегда с привкусом неизвестности. Как бы и не слушает тебя, находясь в изрядном далеке, а потом вдруг обрушивает на тебя, неадаптированного, его – сочащееся парадоксами «решение», причем безо всяких там логических «посылов» к нему. С самой высокой точки. С болевой! Этим он мне неожиданно напомнил Алима Гасымова, который может взять да и начать мугам – с zil[1]! До него подобное никто не вытворял…

Голос в диктофоне… Подобрать всякий раз нужный «диалогизирующий» инструмент, тот самый, единственный, который бы помог вскрыть замок души героя, его профессиональную и личностную крепость – от нащупывания предмета разговора до выведения следствий из оснований, которых может быть множество…

Точки зрения, великое их уймище… Такая вот форма «астигматизма», ведущая – нет, не к слепоте – прозрению. «Yerin altını da bilir, üstünu də» – в случае с Вагифом тут нет никакого преувеличения. Так, на вопрос – почему многие неуютно чувствуют себя в метро, ответил: «Видимо, потому что между идущими под землей и над землей очень много могил…»

Ответ, что не всегда произрастает из вопроса. Точнее, почти не произрастает. Как и последующая фраза – из предыдущей. Смычки эти, не всегда уклюжие… Точнее, несмычки, поначалу мне досаждающие, когда за вопросом, ему заданном, следует не ответ, нет, а … вопрошания… Их зыбкая хлябь… Это как всемирный потоп – без спасательного круга…

Я шла к нему за точками опоры, а попала – в водоворот…

Не сразу поняла, что в них и сокрыт тот самый ответ – в своей валкой неоднозначности. Размытый дождями жизни… Его, Вагифа, ответ.

А иной раз и вовсе казалось, что перевернутым он видит этот мир…

[1] Zil (азерб.) - мелодическая и эмоциональная кульминация мугамной композиции

Каждый наблюдает жизнь из своего окошка. И хорошо еще, если оно – не с решеткой в потолок…

«Мы все безумно одиноки на дне души – своей тюрьмы». Неожиданно всплыла в памяти строка Тютчева.

А это – Вагиф:

Как бежать?
Зачем бежать?
Куда бежать?
Земля мала,
Мала, как двор тюрьмы…

С таким, как он, хорошо бы сидеть в одной камере. Камере без стен. И не заметишь, как «пожизненное» перешло в «постжизненное»…

Встреча с ним как мостик к свободе – в себе.

Да и какая там «решетка»?

«Я никогда не закрываю форточку. Ангелы залетают ко мне запросто...»

Мне казалось, что вышел он во мне – лимит удивления. Высох. Ну все перевидела… Вагиф же «интригует» постоянно.

При этом не нагоняет жутей – как-то по-доброму у него получается укорить. И чувство юмора у него вневременное, не заточенное на «актуалку» – как бы чуть в прыжке. Человек не с такой или другой, а с – этакой точкой зрения, от которого всегда ждут особенного поворота в разговоре, после чего всем становится легко – будто бремя скинули. Впечатление, что и не было их, печалей в его жизни…

И – что он уже был здесь – когда-то…

Настоящий собеседник. Умные люди редко слушают других, в смысле выслушивают. Что, впрочем, объяснимо и простительно. Самедоглу другой. Он слушает. До конца, может, дает возможность высказаться, чтоб сам понял, какую ахинею несешь… Поэтому с такими как он предпочтительнее молчать. Вот почему любая попытка диалога с ним кончается его, Вагифа, монологом.

Говорит неторопливо, так и видишь, как поднимается, с расстановкой сил внутри себя, до мысли, до высокой ее глубины… Грандиозный фактаж в руках, которым он легко манипулирует – как пасьянс раскладывает.

Аксиомы обретались одна за другой…

При этом ощущение банановой шкурки не покидало меня всю встречу.

Вопрос, содержащий преднамеренную наводку журналиста – курс на банальность своего рода. С ним этот номер не прошел. Как и твое «предвосхищение» его ответа, «подгонка» последнего под…

Непростой она выдалась, встреча, после нее я пролежала двое суток ничком… Оставалось лишь выпотрошить диктофон…

И тем не менее, в нем осталось то, что не перенесешь – ни на какие «носители»…

В нем запечатлен тот день – с его Небом за окном и неповторимым Героем Дня…

А солнышко… Оно прорезывалось сквозь тучи. Лучиками, веселыми такими…

Чуть реже обычного, быть может…

Ну как я могла не прийти к нему – чуть пораньше, годом-двумя…

Не получалось. Никак. И потом, к нему нужно приходить пустой, вытряхнув из себя до крошки всю пустяшность поденщины, чтобы впитывать в себя, впитывать… Тот исполинский пласт, которым он способен одарить. Не получилось. Только теперь вот…

Книжки, им надписанные… Авторские заверки, часто отписно формальные. Я вообще заметила, чем талантливее автор, тем неприхотливее надписывает он свою книжку – витиеватой стилистикой занимаются графоманы-рифмоплеты. Но и эти бесхитростные посвящения спустя годы прочитываются иначе, словно обретая иные смыслы...

Не стало…

Слушаю его, голос в диктофоне… Совсем другими ушами прослушиваю то, что во время встречи утерялось, отчего-то не показавшись важным, значимым… В нем, голосе, больше чем просто слово, его смысл или даже смыслы. Этот обрывочный разброс фразировки вперемежку с незлой ироничностью… Это придыхание с хрипотцой… С чуть запинкой или неслышным вздохом… Этот настрой – на самый тот момент… Кажется, слышишь, как мысль течет… Диктофон фиксирует малейшие перемены, делая их зримыми…

Как кардиограмма…

Слушаешь, одолеваемая мыслями, которые во время самой беседы отчего-то в голову не приходили.

* * *

Еду в такси – к нему, проститься…

– Куда?

– Аздрама.

– А где это?

– Театр… там сегодня… прощание… Вагиф Самедоглу…

– А кто это?

Боль. До озноба…

«Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор». Не знаю, кто автор, но – промах… А ведь чуть было не поверила…

Зря не поверила…

Вернусь домой поздно… Буду бродить по городу – его, Вагифа, городу… А вот и крепостная стена, его любимая… Свернув за нее, окажусь царстве воспоминаний – я родилась там, где он со своим «адашем», великим джазменом, соседом моим, когда-то…

Я расспрашивала каменную кладку, окликала деревья – они не могли его не помнить… Да вот же они, бегут-торопятся, Вагифы, совсем юные, прямо из кинотеатра, домой, чтобы проиграть на рояле запомнившуюся оттуда мелодию – с джазовыми ритмами…

«Покажи аккорд мне, тезка!» – именно так он назовет свою статью, посвятив ее безвременному уходу друга…

Но молчали стены… Стены дома деда моего, там сейчас итальянское посольство, а они – не помнили… Не могли помнить. У пришлых памяти не бывает…

В такси садилась нехотя...

«А я вас узнал, по фотографии, на сайте прочел статью о Вагифе Самедоглу. Спасибо!» Не могла поверить своим ушам – надо ж, какой продвинутый попался… Он говорил о нем и до того был расстроен, что сбился с маршрута, забыв свернуть на перекрестке, пришлось ехать в обход… Дорога не кончалась… Денег он с меня не взял, сказав, что «смертельно обижу». И добавил: «Он же – наш гений!»

Гений, сбивший с пути…

И вновь – вне однозначности. По Вагифу…

«…Bir axşam taksidən…» [1]

Двойные его стандарты продолжали жить своей жизнью…

[1] Популярная песня на слова Вагифа Самедоглу.

Это было вечером, а днем…

… Он был на сцене. На пьедестале – том самом…

Не знаю, как называется это жуткое приспособление… Оно ждало, терпеливо так… Ждало своего часа… Катафалк… Тот, на который я набрела тогда… Во время съезда писателей, в перерыве…

Я убегала от своей догадки, боясь оглянуться…

Стояло, черно-бордовое, устройство для будущих умерших. Переноска… Словосочетание-то какое – «будущих умерш…» В его, Вагифа, ключе.

Не стало…

Смотрела на сцену и…

Что-то свербило изнутри. Неясным укором. Не сразу поняла… Были, были моменты, за которые мне сегодня стыдно… Он звал меня к себе, пообщаться – находясь на процедурах, в Центральной Клинической… Не раз было… Даже шофера посылал, хоть и работаю – в двух шагах… Не пошла. Не смогла… Не шлось… Очень трудно встречаться с веселыми еще недавно людьми, попавшими в безнадежную ситуацию… С человеком, которого выбирают тамадой последние 50 лет – ну всех застолий… Не могла видеть глаза его, угасающего, – там, в белизне неопределенности, завеси смутных полунадежд, развлекая шутками, которые еще не изобрели…

А впрочем… Что я оправдываюсь…

Просто – струсила… После медицинских стрессов, недавно испытанных, своих…

Не могла находиться средь этих шнуров реанимационных, попискиваний бездушных аппаратов и невозмутимых белых колпаков – слишком сильно было еще не отпережитое…

Каюсь…

Как не пошла к Яшару Нури в свое время – тоже звал, туда же…

И так же потом лежал – все на этой же сцене...

Все та же Аздрама, все тот же катафалк…

Катафалк азербайджанской драмы…

… *«Səsim gəlir?»*[1] – спросил он чуть ослабевшим голосом, обращаясь в зал театра, во время своего юбилейного чествования. – *«Hələ bir müddət gələcək...»*[2]

Умение юморить в любой ситуации и любом состоянии – как это было свойственно ему. Никогда не забуду, как он в музее Низами, на презентации своей книжки, изданной в Америке. Последней презентации…

«…Я не боюсь умирать, траурные церемонии нынче подешевели – халва, сахар, чай… Всех вас приглашаю, gözüm üstə yeriniz var», – говорил он оторопевшим зрителям; подобного *«dəvətnamə»*, да еще сделанного в столь официальной обстановке, в их жизни точно не было! Пришли на обычную презентацию, а попали... Круто попали, не зная смеяться им или плакать. Так и сидели, не определившись с мимикой, а я поняла, что это такое – трагикофарс.

Он шутил со смертью – до последнего, сыпал шутками, припоминая смешные истории из своей жизни, поражая памятью на обилие мельчайших деталей и обнаруживая невероятную наблюдательность – ну ничто не прошло мимо!

Так, между прочим, рассказывал о жизни в ее порой ужасающих проявлениях, но при этом как-то уморительно забавно. Что уж говорить о случаях действительно курьезных, которых ему щедро так перепало.

Кого-то он напоминал мне… Ну да, он похож на Ганди…

[1] «Меня слышно?» (азерб.)
[2] «Еще какое-то время будет слышно» (азерб.)

Не успела подумать, как услышала том, что его принимали за главу государства. Например, за…

«Простите, вы Махмуд Аббас?» – спросила его, обознавшись, в Страсбурге журналистка ОРТ.

«Совсем наоборот», – ответил он, показав на значок Кнессета, который ему незадолго до этого прикрепили на грудь израильские депутаты – он там у них едва ли не национальный герой… Самолично убедилась недавно: прознав о том, что готовлю книгу о нем, мне оттуда на почту потоком шли благодарные письма, полные клятв в любви – к нему… Они изберут его, Самедоглу, членом израильского Союза писателей. Чуть позже… Такой вот он феномен мультикультурализма…

… Вагиф вспоминал и вспоминал, давая урок отношения к жизни – как к несерьезу…

И вдруг:

«Для меня сейчас 75 лет – самый маленький возраст… Хочу творить, работать… Хочу еще пожить, чтобы подольше слышать голос Нушабы ханым, видеть ее…»

А еще поведал о том, как…

«Самеду сообщили, что вышел Указ по Гобустану – о его ликвидации. Самед позвонил Мирзе Ибрагимову, который был Председателем Президиума Верховного Совета Азербайджана, чтобы поехать на его машине – государственная машина, ее не останавливали. Еще был представитель прокуратуры – мы сели в ЗИМ, большой такой, серый, и поехали в Гобустан. Увидев, как бульдозер кромсает скалы, стирая с лица земли уникальные древние изображения… 50-60 скал искромсали – это было ужасно! Там еще был трактор-пила… Отец сказал прокурору: «Дай мне пистолет!» Сошли с машины. Когда отец нацелился в бульдозериста, в последний момент прокурор отвел его руку в небо! К счастью… Так спасали Гобустан…»

Он продолжал делиться сокровенным, вспоминая давно минувшее, но оттого не утратившее боль. Торопился поделиться – во что бы то ни стало.

Юсиф, Вагиф… Разные они, дети Самеда... Но любители пострелять – все трое. И не только на охоте. Это у них, видать, наследственное… Девятилетнему Вагифу подарил Самед ружье. Охотничье. Ружье и фотоаппарат. С тех пор он с ними не расставался…

Самед обладал даром быть отцом. Юсиф ходил на скрипку, сестра Айбениз на фортепиано, а младшенького, значит, предложили на виолончель…

«Спасибо отцу, он избавил меня от этой тяжкой участи – таскаться с инструментом», – говорил Вагиф.

Впрочем, тяжело ему было и без виолончели, потому что он уставал от… красоты. Уставал от хорошей музыки симфонической, книг…

«Читая любимые произведения Чехова или что-то из Гегеля, Шопенгауэра, я обращал внимание, что безумно устаю. Знакомиться, узнавать талантливое, гениальное – это проделывание какой-то работы жуткой. Я занимался всю жизнь этим… Это непрекращающаяся работа мозга. Это большой груз – равносилен физическому»…

Вагиф вспоминал… О том, как в этом вот музее проходило обсуждение портрета Низами – каким он был на самом деле? Зейнал Халил заметил тогда, что все представленные портреты изображали очень красивого мужчину, а он, может, обычным на внешность был? «Отец поддержал его тогда, сказав, а что, если он был похож на самого Зейнала, оба ведь гянджинцы…»

Что до «ненависти» между людьми искусства, непременно «неизбежной»… Он опрокинул и эту «догму», наглядно так. На этой самой презентации своей сходу опроверг доводы ведущего относительно его, Вагифа Самедоглу, первенства в сегодняшней песенной поэзии: «Вы как самый-самый из ныне здравствующих…»

«Нет, – протестующим жестом пресек он, – первым был Фикрет Годжа».

Я даже не припомню такого вот коллегиального, что ли, пиететства, сколько ни силюсь… Хотя нет… Анар рассказывал, как Расул отзывался о В.Самедоглу, совсем еще юном: «Vaqif yaman bərk gəlir, gərək özümü yığışdıram»[1]…

«…Пойди к Вагифу, моему другу, напиши о нем, юбилей у него»… Услышалось…

Было ***у кого*** наследовать, ***что*** наследовать…

Слово один за другим брали его друзья – актеры Фуад Поладов и Фахраддин Манафов, поэты Фикрет Годжа и Рамиз Ровшан, режиссер Рамиз Гасаноглу, композитор Фаиг Суджаддинов… Лучшие из лучших… И все они говорили о роли, которую сыграл в их жизни фактор Вагифа Самедоглу.

Он не площадный поэт, не поэт-трибун. Он поэт кельи. Беседа с высшими энергиями – вот его стихия, редко кто из поэтов достигает такого уровня «диалога»… И прав стократ Анар, утверждающий, что *«стихи Вагифа – посланные нам Богом молитвы»*…

Вагиф, стоящий за трибуной, в этом убеждал. Еле слышным шепотом он говорил ***так***, что не слушать его было *нереально*.

Будто вибрировал – в пульсе межмирья… Продолжая шутить со смертью…

Хотя говорить, что она вовсе не расстраивала его, болезнь…

После прогулки вернулся домой удрученный. «Меня никто не узнает – худой, безусый…» Его паника была понятной. Человек, которому еще год назад никто проходу на улице не давал – ну все узнавали, каждый первый, а тут…

О, Аллах!..
Что ни день – выпадает кирпич
Из моих покосившихся стен.

О, Аллах!..
По кирпичику крошится век
Мой земной…

О, Аллах!..
День за днем – словно камни из стен…

О, Аллах!..
Вот еще один рухнул у ног…

О, Аллах!..
Что ни день – то потеря…

О, Аллах!..
Что ни день…

Боже мой!..

Я спросила тогда его о мудрости, которая спасает… Он не дослушал:

Нееееее, при чем тут мудрость, Ната… Мудрость – это полное поражение! Полный крах – моральный! И даже физический. Я сейчас на той стадии, когда у меня кончились ответы! Вопросы разгромили все ответы! Полный триумф!!! Полная победа вопросов! Это как человек перед закрытой дверью подбирает ключи, чтоб узнать, что же там, за ней. С настойчивым любопытством ученого-исследователя, с его пытливым запалом… Наконец-то через годы безустанных раздумий, анализа, чтения разного рода книг ему удается отво-

[1] «Вагиф очень мощно идет, надо бы подвинуться» (азерб.)

рить эту дверь. Он распахивает ее, заходит, радостный, а там уже – две двери. А за этими двумя – уже четыре… По прогрессии геометрической… Полный триумф... А ты говоришь – мудрость…

А на вопрос – как же ему удавалось писать стихи, будучи депутатом…

«Слушайте, если это удавалось Иоганну Вольфгангу Гете, который, будучи министром в Государственном Совете Германии, написал «Фауста», неужели азербайджанский депутат не может написать одно непонятное стихотворение?»

Таков он был, его ответ… И не было в аналогии той бравадного замаха, не скоробила она меня…

Я спросила его о космополите, он ответил тогда, вернее, не ответил:

«Это ощущение. Не все возможно сформулировать…»

Он ушел в свои мысли, забыв обо мне…

Я нашла ответ в его книгах.

Был бы 23-й год.
И был бы я в Чикаго.
Сидел бы в кафе,
Курил бы трубку.
И обязательно играли бы там свинг.
Играли бы
На коричневом ненастроенном рояле.
Играл бы я сам, конечно,
И к тому же был бы негром…

«Был бы негром»… Впервые встречаюсь с такой мечтой.

Расплывчатое «гражданин мира» вырисовывалось в нечто почти понятное… В этом весь Вагиф; конкретное в нем расплывается, туманное – очерчивается…

«Был бы я в Чикаго»…

…Если бы родила меня мать
на Маркизских островах,
нарекла бы, наверное, меня –
Хемао…

Космополит…

«Мечтаю о том, чтоб приснилось мне так называемое русское захолустье. Провинция чеховских рассказов, пьес с домами, обедами, дождем, с той тоской, которую сейчас я могу назвать уютной»…

Это тоже Вагиф. Дано, дано ему это проникновение в иные культурные пласты, спектр их… Вчувствование – на органолептическом что ли уровне…

А вот запись из дневника:

«Много стран на свете, всех не перечесть, Азербайджан – один. Ах, как это безбожно плохо. Было бы два Азербайджана, я бы эмигрировал во второй. А потом… обратно…»

Такое вот резюме «негра из Чикаго». Резюме-признание. В любви. Он не голословен, Вагиф. Вожделенное забугорье – это не его. Да и находясь вне родины, он не «покидает» ее:

«Плыл над Москвой тягучий азан снега»…

А недавно, будучи в Турции, случайно узнал о том, что ему нужна операция на сердце. Срочная. «Едем домой!» – заключил Вагиф, невзирая на уговоры вокруг отшун-

тироваться в Анкаре. «Только дома!» Его прооперировали в Баку – слава нашей кардиохирургии!

… Шопен вспомнился в этой связи. Не напрасно вспомнился – такая вот «сердечная» ассоциация; сердце композитора, «певца фортепиано», как известно, хранится на родине, в Варшаве, в костеле Святого Петра. Так он завещал…

Вагиф всю жизнь обожествлял Шопена, он был кумиром его юности… И даже стихотворение ему посвятил…

Космополит…

У него это не расходится, в смысле слово с делом. Даже на повседневном, скажем так, уровне. Так Бетти Блэйер, главного редактора журнала Azerbaijan International, явившейся инициатором издания презентуемого сборника, он называет не иначе как… *эмигызы*, чем ужасно веселит ее…

«Əmiqızıya minnətdaram»… Ну где она еще такое увидит или услышит!

…и в лесу человека убивают,
Боже!
Пред глазами
стольких деревьев!..

Строки эти Вагифа буквально сразили госпожу Блэйер, по ее признанию…

«Существует мнение, будто бы миру все дала Америка. Это не так. Я вырастил для Америки поэта. Бетти уверяет, что после меня начала писать стихи, – так я внес вклад в развитие американской литературы…»

Он говорил все это, взяв Бетти под руку, и я вдруг поняла, что это такое – Гражданин мира…

В иллюстрациях Самедоглу…

С ним мир перестает быть заповедным…

А он между тем продолжал «искажать» нашу жизнь. Выкорчевывая устаканившееся когда-то…

Рассказал, что видел Сталина, что очень удивился тому, что…

«Я думал, что Сталин огромный, что он в наши Гала гапысы не пройдет, не стукнувшись головой, а он, оказывается, маленький был… В Кремлевском дворце его видел, в Георгиевском зале, на празднике елки, в январе… Борис Андреев, актер, был Дедом Морозом… Мне было 11 лет, я танцевал вальс с девочкой-чешкой, у нее галстук был синего цвета… В это время другая девочка, немка, закричала – «Сталин пришел!» Я обернулся, увидел его – маленький…»

«Многих классиков я называл «дядя»… Фадеев, Илья Эренбург…»

А еще не удержался от…

«Ну кто может в Азербайджане похвастать, что пил с Пастернаком? Не понимаю, кому пришло в голову налить мне тогда, маленькому мальчику, – наверно тогда уже у меня на лице было написано»…

Мэтр сыпал шутками, припоминая смешные истории из своей жизни, поражая памятью на обилие мельчайших деталей и обнаруживая невероятную наблюдательность – ну ничто не прошло мимо!

«Самая яркая страница моей жизни – Московская консерватория… Представьте себе – идешь по коридорам и знаешь, что по ним ходили Чайковский, Рахманинов…»

Он всю жизнь думал о смерти. Слишком рано с ней столкнулся. Мальчонкой был, когда погибла Лялечка, соседка – в ашхабадское землетрясение, уехавшая на лето погостить…

«Описать словами то, что в этот момент произошло в моей душе, наверное, невозможно. Мне казалось, что все вокруг меня остановилось… Исчезли звуки, запахи и даже краски слились в какой-то бешено вращающийся вихрь. Я стоял… и никак не мог понять этих безысходных слов… Ляли больше нет, и я ее никогда больше не увижу… Мне было восемь лет, и в мою жизнь впервые вошло это страшное слово – «никогда»…

… Он был ребенком, когда сосед-пьяница выбросил из окна пятого этажа… свою дочурку – под ноги играющей ребятни...

«Моя мама тут же позвонила отцу, – пишет Вагиф. – Когда он пришел, то сразу же достал свой пистолет, подарок маршала Рокоссовского, и кинулся на лестницу. Но в этот момент наш сосед, дядя Сабзали, бросился к папе, обнял его ноги и начал неистово кричать: «Бурахмарам, бурахмарам![1] *Ты что, Самед! Из-за этого мерзавца хочешь погубить себя?» Прокурор республики Эфендиев, который тоже жил в нашем дворе, отнял у папы пистолет, и сказал мне, чтобы я его куда-нибудь спрятал…»*

«Это страшное слово – «никогда»…

Кто знает, может, там они – корни его всепоглощающего интереса к Смерти, ставшей едва ли не главной героиней творчества… Этой его смертельной эпопеи, длиною в жизнь…

Вагиф Самедоглу… умер…

И вот она – переноска, мне знакомая, на сцене… Не то что стояла наверху, никому не нужная…

Или то была бутафория… Да нет же, нет… Вот же она…

Но он ведь уже умирал – не раз…

«Последний» день, «последний» вздох… Что это – предчувствия, которые не сбылись? Но ведь – как часто за «предчувствиями» ничего не следует… Промах? Нет же, нет. Просто конец – он не обязательно физический. Сколько раз мы кончаемся за свою жизнь? Человек ведь не всегда «внезапно смертен», как выразился один из булгаковских героев. Собственно, жизнь и есть череда, точнее, цепь – концов и начал…

А может… Может, в основе и был – страх? Тот самый, вполне понятный.

«Ой, не хочу я ее – великой тишины»…

Вскрик?

Или вот:

«Господи, как было бы здорово попасть на Ноев ковчег, глядеть на бесконечные воды и с трудом верить в то, что под этой необозримой морской стихией когда-то была земля, на которой жили, охотились, унижали женщин, почитали Сталина и гнали, и гнали мысли о смерти прочь, прочь, прочь…»

Неизбежность ухода (а других уделов еще не было), что способна отравить твой каждый день…

Наша жизнь, по сути, и есть пир на костях – тех, кто был здесь до нас. Как бы мы ни отмахивались от этого «неудобства»…

Смерть, уход, могила… Читаешь все это у Вагифа и не меркнет белый свет, хотя должен бы… Он всегда оставляет пространство для маневра.

И река жизни продолжает журчать…

«Sən uzag yaşıl ada»[2]*…*

Он умирал – не раз… Когда «арестовали» тираж его первой книжки в 1967 году и спустя пять лет искромсали рукопись второй. А бывает, что умираешь – не родившись:

«Родился в 1939-м, в 1937-м посадили»… Именно так он пишет в своей блиц-биографии, современно говоря – сиви. Или же: *«Хотел дважды убить себя, но не убил тысячу раз»*...

[1] «Не пущу, не пущу» (азерб.).

[2] «Ты - далекий зеленый остров»- стихотворение Вагифа Самедоглу

Катафалк на сцене… Кто только не полежал на нем – достойные и не очень… Кому это еще предстоит… Мы уйдем, а он останется – пойдет к себе туда, на четвертый, кажется, этаж и станет в ожидании… Я понимала Вагифа все больше, понимала его упадничество, видела его резоны… Все очень серьезно, господа…

А еще можно умереть – не уходя… И такое видели…

«Жизнь качается у смерти в колыбели»…

«У меня есть нелюбимые и одна любимая цифра. Нелюбимые – 50 и 63. Столько лет прожили отец и старший брат. Любимая – 87. Мамы не стало в этом возрасте. Я тоже хочу столько лет просуществовать»…

«Куда попаду? Точно знаю куда. Либо в самое теплое место рая, либо – в прохладу ада».

Так Вагиф «осваивал» следующую уже, очередную жизнь (ну, а в том, что он их прожил не одну, у меня не оставалось никаких сомнений – зараз столького не постигнешь). Ощущение будто переезжал куда-то – со своим ценностным «чемоданом»…

А на вопрос – если б вам дали возможность обратиться к людям планеты, что бы вы им сказали – отвечал: я не настолько самонадеян, чтоб пойти на такое…

Я устал *– последние его слова на моем диктофоне…*

Смерть как опора – единственная, на которую можно опереться в тяжкий час. Она не предаст… «Ölümə inan, ölümə bel bağla», – уверял он, но не тут-то было…

Смерть… Он ждал ее, как спасения, но она будто отошла в сторону… Та самая смерть, на которую он так рассчитывал…

Где он сейчас – на небе или в море – он так любил их…

Особенно море.

«У меня ностальгия – по морю», – признался Вагиф мне тогда. Как так? Вы ведь с ним не расстаетесь…

«Моя любовь к морю – как возвращение на родину. С чужбины. Мы ведь все вышли из него, моря. Всё живое… Радуюсь каждый раз, когда…»

Там, на презентации…

«…Величие смерти в том, чтоб прийти сюда с вопросами, противостоять им ответами, а затем вновь уйти – все с теми же вопросами… Уходишь, опустошенный, и какой-то… успокоенный. Обнадеженный тем, что ты не одинок был в этих поисках – никто так ничего и не нашел в этой жизни»…

Он говорил о страшном, после чего, однако, внезапно легчало. Непонятно так, хотя по логике должно бы напрягать. Будто глубоко вздохнул, избавившись от тисков. Он словно адаптировал зал к неясному будущему, делая щадящим переход… Неизбежно предстоящий… Что роднило его с проповедником. Словно бежал чуть впереди всех и показывал – где ров, где гора, а где разломы с оползнем…

И мне вдруг отворился смысл расхожего «Все пройдет»… Странно, до него мне эпитафия эта виделась – срывом в бездну…

«…Уходишь… успокоенный…»

С ним многие постулаты теряют аксиоматичность. «Нельзя объять необъятное, постичь непостижимое…» – один из них…

Человек делает ошибки, как может, преодолевает препятствия, набирается опыта и – умирает. То есть, поняв худо-бедно что к чему, он не может воспользоваться всем этим ценным опытом, забирая его с собой. Выходит – смысл жизни в трудностях, проблемах, суть – в преодолении. «Процесс – все, результат – ничто»?

Жизнь как бесплодный подвиг… И резюме – не из утешительных:

«Сколько б ни писал, сколько б ни жил, жизнь твоя, как и творчество, всегда останутся половинчатыми».

Сколько боли в этом выводе! А еще больше – неутолимой жажды бытия!

Хотя...

Самый большой друг – книга. Правильно говорят. В смысле верный друг – проложи закладку на какой-то странице, вернись к ней через сколько-то лет, а она, страница, все ждет...

Закладки в книжках Вагифа... Их число растет с каждым днем... И расти будет...

Не как поэт,
А как стихи, я умереть желаю,
Живу мечтой и чаяньем
быть до конца читаемым.
Хочу остаться в чьей-то памяти
Назубок знаемым.
Безумно обожаемым...
Не как поэт,
а как стихи –
Незабываемым...

Ему вроде становилось получше... Я продолжала звонить ему – с праздником поздравить, о здоровье справиться или просто, соскучившись...

И в каждый свой звонок слышала «новости» о нем – одна забавней другой...

«... Вагифа нет, он у моря... Не может он без него... Один? Нет, с собакой...»

«... Вагиф сидит в майке, весь в орденах-медалях... Жарко... Только что принесли еще один... Привет вам шлет – слышите?..»

«... А он пошел за клеткой для попугая новоприбывшего, хочет научить его говорить – с маленькими это легче получается, есть у него опыт в этом деле...»

И все это на фоне отчаянно неумолчного гомона птиц – наверное, так звучит рай...

Они, птички, встревоженно перебивали, не давая говорить, словно упрятывая вести о нем, оберегая сокровенный мир своего хозяина...

До меня долетали отголоски его жизни, ее милые штрихи.

Жизни, так не похожей ни на чью другую...

Просто люди бывают двух видов – те, кто *живут*, и те, кто *пребывают*...

Так вот он – пребывал. И потому не знал ни сковывающих рамок, ни окончательных точек – тех самых, отрезающих пути к отступлению, ни безвыходных тупиков...

Он парил над этой жизнью, нежась в ее искушающей бесконечности, смакуя ее нектар... Находя его во всем, на каждом шагу жизни, со всеми ее ошарашивающими контрастами...

Сцена печали... Смотрю на нее, в придушенном горем совсем не по-театральному зале...

Все становится-таки на места свои – не печатался чуть ли не с полвека, а тут – толпа с микрофонами-диктофонами-фотоаппаратами-камерами... Чуковский, кажется, сказал, – «В России надо жить очень долго, чтоб до чего-то дожить»... Сколько их, разминувшихся со славой по причине... География тут, думаю, ни при чем. В молодости вешают ярлыки, в старости – ордена. Кому их показывать? Богу они не нужны – там иные «пропуска»...

«Становится на места», похоже…
Но от этого «порядка» не легче…

Голос в диктофоне…
Не слабый, нет, чуть дрогнувший… С паузами – как предпочтением мне внутренней тишины. Тиши в себе...

Друг,
когда я умру,
включи-ка на память магнитофон,
возвращающий звуки.
Еще раз послушай
отзвучавшую мою душу,
стуки сердца
после разлуки…

Это отрывок из стихотворения, посвященного Анару…

…Анар был краток, как никогда:
«Səməd Vurğun ailəsi sonbeşiyini, Azərbaycan ədəbiyyatı böyük şairini, mən dostumu itirdim. Vaqif ölümdən yazsa da, həyatı çox sevirdi. O, bizə kişi kimi yaşamağı, ölümü kişi kimi qarşılamağı öyrətdi». Сдавленная слеза не давала говорить. *«Для меня вчера мир опустел…»*[1]
Все было как-то тихо. Нешумно. Как он любил, Вагиф…
Есть у него афоризм о мечтаниях, в которых можешь пропасть, затерявшись…
Будто обо мне написал. О моей ситуации в контексте написания этой книги. Да, я заблудилась – в нем, себе, своей и всехней жизнях…
Жизнях, с их бездумными радостями, безудержной безоглядкой, бессмысленным смыслом... Ну и под финиш смерть – с последующим предъявлением счета…
Единственное, что осталось во мне – острое желание докопаться до резона нашего существования – ЗАЧЕМ!!!
…А вечер, с ним проведенный, не забудется никогда. Размеренная речь его, мэтра пера, и на ее фоне уютный хохоток Нушабы ханым.
«Не уходи», – просил он ее всякий раз, завидев, что она намерена отлучиться – чай заварить или ответить на телефонный звонок… Она реагировала на каждую его шутку ***так***, будто ждала ее всю жизнь… Порой упреждая ее, знала, что Вагиф – это тот, кто смешит всех и всегда… И он не подводил!
…А еще красавица Айла, внучка-обаяшка, с огромными бархатными глазами, в которых – недетское понимание момента, его остроты и предельная ее к нему сопричастность… Он, «Гагуш», как она его нарекла, еще будучи крохой, прямо светился при каждом ее появлении. Айла – та самая, кто, по уверениям деда, «пишет постмодернистские стихи»...
«Держит дистанцию»…
Мне казалось, что меня тут ждали и давно знали – до того радушны… Мое – «Вагиф-муаллим…», непременно упиравшееся в его славное, с хрипотцой «джан»… Именно так всякий раз выглядело мое к нему обращение… Чисто азербайджанская теплинка в голосе… Сладко так прихлынивало от нее, нет такой нигде в мире, сколько ни ищи… Будто

[1] «Семья Самеда Вургуна потеряла своего младшего сына, азербайджанская литература – великого поэта, а я – своего друга. Хоть Вагиф и писал про смерть, но он очень любил жизнь. Он научил нас жить как мужчина, и встречать смерть как мужчина».

летишь с немыслимой высоты, а он, улыбчивый, стоит внизу в ожидании, раскинув спасательный батут… «Джан»[1]… – эта приветная волна в мой адрес… И мне наконец понравилось мое имя, через предложение… Впервые понравилось, в его сокращенной версии, до того проникновенно произносил.

Все это импонирующе составило Впечатление того дня. С его интеллигентски бережным отношением другу к другу, *немыслимостью* утратить…

Пространством без разделения – на своих и чужих…

– Вагиф муаллим, что останется в Вечности – от вас? Какая строчка?

– «Я здесь, Господи…» Это сегодня я говорю, и могила моя это будет говорить… «Боже, я здесь…» Вот эта строчка всегда останется со мной…

Презентация его книги. Последней…

«… Xatirələr.. elə bil qəddarlaşır...[2] *Ожесточаются с каждым днем. Не знаю, с возрастом это связано или болезнью… Все хочу вспомнить что-то светлое, как выползает совсем другое… Из-под земли будто, головой змеи… И вот эти ожесточающиеся воспоминания, прибывающие вопросы, иссякнувшие ответы… Мучают они меня, терзают…»*

То был не то отчет, не то рапорт… Некое подведение итогов или исповедь…

Он был весь – в сказанном… Смотрел чисто так, промытым взглядом… Говорил будто всем нутром своим, до просматриваемого донышка… Давно я не видела такой нефальши…

«… Я не знаю – смерть близко или далеко, не знаю, холодная она или… Я не боюсь смерти, верьте в мою искренность, – да и как я могу бояться того, чего не знаю? Если на меня кинется бешеная собака, я испугаюсь… Если на меня набросится голодный тигр – ужаснусь, я знаю, что это опасно… А как я могу бояться смерти?.. И того мира не боюсь. Я не знаю, сколько там языков, один всего или как здесь – тысячи… Не знаю, расстояния в чем там измеряются, какова мера веса… Есть ли там любовь… Хотя было бы неплохо, чтоб все же была… Я ничего о нем не знаю, тамошнем мире»…

Он всегда был набожным. Слепой не заметит. Редко какой стих обходится без упоминания Аллаха. Обращение к нему – на протяжении всего жизненного пути. Верующий-неверующий… Три жены, как и полагается примерному мусульманину… Пил, правда, случалось…

«Все молитвы назад возвратились ко мне»…

Общение с такими людьми это как своеобразная инвентаризация внутри себя…

«…Я бывал во многих странах, в очень многих, но так и не встретил ни одного чужого дерева... Ни одна река не шумела по-другому, ни одна «инородная» кошка не мяукнула так, чтоб я ее не узнал, ни одной птицы голос не показался мне незнакомым… Как и плач ребенка – все дети на земле плачут одинаково… И лишь, когда они начинают говорить, выясняется, что цвет кожи у них разный, что кто-то из них христианин, а кто-то мусульманин, да и языки у всех разные… Вот когда начинаются «знаки различия»…

Он сообщал простые вроде вещи, но…

Нет границ между странами, религиями, расами…

Граница одна – между жизнью и смертью.

И этот «критерий» остался во мне навсегда.

Он сложный, Вагиф, многофакторный, но и – простой, умеющий стать своим в доску в любой среде. Даже в чужой языковой.

Он умудрялся расположить к себе иностранцев, не владея инглишем – с десяток

[1] Джан (азерб.) – душа.

[2] Воспоминания… становятся безжалостными.

слов у него, не больше. Так вот десятка этого оказывалось достаточно, чтобы сделать приверженцем своего мировидения любого напротив – раз и навсегда.

Импозантность, постижение тебя бездонным взглядом, с лукавинкой улыбка и вот уже – нежелание расставаться с ним.

Артистичный, сочный…

Да, еще рояль в качестве «тяжелой артиллерии»…

Виртуозом рождаются...

Такие люди формируют мировое общественное мнение о стране. Это не громкие слова – будучи членом азербайджанской делегации в ПАСЕ, Вагиф в Страсбурге играл американский джаз, вызвав откровенное удивление у коллег-чужестранцев, которые аплодировали ему стоя! Их понять легко – много ли мы знаем депутатов, способных на подобный «релакс»? Он встал и ушел – тот, кто сидел до него за роялем…

А британцы стали пред ним на колени, услышав его инструментальный экспромт…

Исповедь-мозаика – в музее Низами... Осколки заключений переполненного человека, желавшего одарить тех, кто… Он сыпал ими, детски щедро, боясь чего-то утаить, не додать…

А потом он выразил желание… поразмяться на рояле. «Я не чувствую своих пальцев… попробую…»

Усевшись за инструмент:

«…Pedal hanı?»[1] *– донеслось со сцены…*

Вопрос этот – ни о чем – и то, что он выдал минутой спустя, долго еще не сомкнутся в голове… Уверена, не только моей. Все так вот играючи у него – живет играючи и даже играет…

Уже первое прикосновение к клавишам сказало всё! То было касание поэта, трепетно-осторожное, народного поэта Азербайджана Вагифа Самедоглу, демонстрирующего редкостное природное туше, а заодно и эхо великолепной пианистической школы, которую он сберег, пронеся через всю жизнь! Трудно верилось в то, что человек много месяцев не подходил к инструменту по причине… А впрочем, у человека консерватория за спиной, московская стажировка у самого Флиера!

«Это был свинг», – пояснил он для несведущих под гром аплодисментов.

И мне открылось сакраментальное: помирать – так с музыкой…

«Черный рояль мой, черный рояль.

Грезы мои радужные и печаль...» – всплыли в памяти строки из его поэмы «Рояль».

Жизнь как чересполосица клавиш…

Джаз…

«За этой музыкой стоит демократизм», – убежден Самедоглу.

Наверное, он прав. Джаз запрещали Сталин, Гитлер… Неспроста ведь именно джазмены, с их невольно вольным мышлением у нас становились диссидентами, там всегда мерещилась окольная конфронтация, даже если исполнитель о ней в явную и не помышлял. Недаром именно они были мишенью охоты совковой системы – иди знай, какой «экспромт» он там выкинет… Ну а песенно-квадратная форма, с ее припевом-куплетом, не располагает к вольномыслию, как ни крути…

Джаз как детектор определения свободы в человеке: напрягает, значит, у тебя проблемы с «психотбором»…

Такой вот он – рояльный, Вагиф (не путать с *лояльный*).

Да и пришел в поэзию через музыку – европейскую классическую и американский джаз – случай поистине беспрецедентный, и не только у нас…

Рафаэль Гусейнов тем временем восхищенно свидетельствовал о том, как в па-

[1] «Где педаль?» (азерб.)

рижском Hilton стоя аплодировали маэстро, очевидцем чего ему довелось стать! Не была там, не знаю, но видела и слышала, ***как*** он музицировал на презентации в Музее Низами...

Джазовый экспромт, выданный экспромтом…

Я очень пожалела, что не было там никого из наших местных звезд. Поозиралась, не приметила никого. Хотя, звезды «местными» не бывают…

Вагифу, судя по всему, и самому понравился собственный экспромт, что он и не думал скрывать.

«Var da, var, – довольный, приговаривал он, проходя к своему месту на сцене. – İnsanın gərək qabında olsun…[1] *– И – задиристо: – Хорошо сказал, а?»*

Он все говорил и говорил, и не мог наобщаться с теми, кто пришел к нему на его праздник. Делегируя при этом какой-то особенный покой, миротворческий…

Быть может, так уходили античные старцы…

А мы слушали его не без завидинки – сумеем ли вот так вот… когда-нибудь… Ведь уйдем, непременно уйдем. Можно не прийти, но не уйти – невозможно…

«Я не верю в болезнь Вагифа Самедоглу, – уверял всех на той памятной презентации выступивший Вагиф Алиханлы. – Не верю! »

Оптимизма его никто не разделял. Да и вообще… Что чувствует человек при виде безнадежно больного? Радость, как ни странно. Радость от собственного здоровья, дающего возможность творить…

Творить зло…

«Говорят, у тех, кто тонет, вдруг в один миг проходит вся жизнь перед глазами… – неожиданно вспомнилось мне начало нашей с ним беседы. – Такого со мной не случалось, я не могу это подтвердить, но…»

Отец… Гобустан… Низами… Московская консерватория… Пастернак… джаз… любовь… А еще Сталин, который «маленький был»...

Да вот же они, акценты Вагифа!

Такая себе «квинтэссенция» Самедоглу…

Точки отправные, важные стоянки судьбы…

Фрагменты жизненного орнамента, некие обломки…

Обломки, которые… выстроили! В единый монолит.

Монолит духовности.

Невыстроенность вечера внезапно обрела логическую стройность – как же отлажен он все-таки изнутри, как последователен в своих постижениях!

Вагиф, с его с перманентной внутренней импровизацией…

Нисколько не удивилась, узнав, что азербайджанский джаз родился в 1939 году – они ровесники с Самедоглу…

А еще он родился в один день с Федерико Гарсиа Лоркой и Микаилом Мушвигом…

«Их расстреляли, обоих, – говорит Вагиф. – Мне повезло…»

Вагиф играл, как в последний раз…

«Что бы ни случилось в жизни, в конце останется одна поэзия» – вспомнились слова Пабло Неруды.

Я бы добавила – и музыка…

Музыкант-поэт-драматург… Этот его универализм меня переставал удивлять с каждой минутой пребывания в музее. Разглядывая портреты, вывешенные вдоль стен зала, поняла, что он, Вагиф Самедоглу, в… русле традиции – как мало кто! И никакой он не «исключенец» – великие сыны Азербайджана, начиная со средних веков, всегда были универсалами. Насреддин Туси, Низами Гянджеви, Мухаммед Физули – да кого ни возьми,

[1] Есть да, есть… Этому не обучишься…

никто из них не замыкался в своей сфере, захватывая в орбиту своих интересов математику с космологией, этику с медициной и минералогией, да еще и логику с теорией музыки…

И я впервые задумалась о расхожем «поэт-мыслитель», галактической его сути… Да и вообще, как это возможно – поэт, который не мыслит… Вот и Вагиф – нормальный гений, чего там…

Под занавес встречи, как водится, он раздавал автографы – надписывал свои книжки… Его облепили со всех сторон, фотографировались, обращались с вопросами.

Пробиться мне к нему так и не удалось…

Но я не огорчилась.

Стояла и смотрела издали…

«Боль временна, триумф вечен»...

Смотрела и – видела…

Книжка о нем…

Он успел ее прочитать – в рукописи… Тот, *предсмертный* ее вариант…

Я была у него – за несколько дней до… Хотелось обговорить какие-то вопросы по верстке, подаче этой книжки. Хотелось выслушать его соображения, придумала даже взять факсимиле… Но, увидев представшую мне картину…

Он лежал, потемневший, в жарко натопленной комнатке, мерз, наверное, и смотрел телевизор – передачу ни о чем и почему-то с очень громким звуком… Может, пытался заглушить студеное безмолвие в себе, которое, нарастая...

«Я еще живой и буду жить… пока есть звуки…»

Увидев меня, улыбнулся, пытался даже приподняться на локтях – не получилось. Протянул ко мне истощалые руки…

Я поцеловала его, размахивая принесенными листочками – «видите, все, как обещала…»

Он благодарил, удерживая мою руку в своих, и глядя на меня вдруг ставшим оживленным лицом… Мучительно улыбнулся – остатком жизни в себе… Извинился, что не сможет сегодня… Никак не сможет… И – вновь – «простите меня, ради Бога …»

Перенести встречу на «другой раз» он мне не пообещал.

Я вышла из комнаты…

Прости…

Прощай…

Это синонимы, оказывается…

Быть может,
это мое здоровье
мишенью для глаз
недоброго станет…
И тело мое, как-то
вдруг занедужив,
в бессилии немочи –
миру предстанет…

Фиалка на полянке,
и соловьиный щелк –
все в одночасье
станет мне обузой…

Моей рубашки
невесомый шелк
падет на плечи –
непомерным грузом...

В один из дней,
проснувшись поутру,
я гляну в зеркало,
усталый...
И, не узнав себя,
его рукой протру,
то Отражение –
чтоб прежним стало...

Стихотворение это с пометкой – «Нушабе»... Отрывок из него. Написано оно в... 1995-м... Я и не поняла, как перевела его на русский – до того пронзило!

Стихотворение-провидение – за 20 лет до...

Сценарировал, что ли, жизнь свою...

«Поэзия начинается с молитвы»...

Сижу в зале, смотрю на сцену...

В чем ценность жизни? Неужели в ее краткости? Или же как раз наоборот – и быстротечность ее обесценивает эту самую ее ценность?

Мне никто не отвечал... Тихо было, до скрипа зубов... Тишина переполняла зал театра, распирая стены... Казалось, вот-вот рухнет, не выдержав крыша...

Крыша... Ну да, вот же она...

Когда падает крыша
Сожженного нами крова,
Когда человек камнем
Бросает метко в другого,
И падает тот бездыханно
На землю в свой смертный час, –
Тогда не мы в Бога,
А Бог не верует в нас.

Когда солнце, нежно
Улыбаясь, смотрит с небес,
А человек пашет поле
Или сажает лес,
И слеза прозрачная катится
Из его благодарных глаз, –
Тогда не мы в Бога,
А Бог верует в нас...

Ему предложили биотерапию – так, кажется, она называется, в последнюю его поездку в Израиль... В вену какое-то вещество вводится, каждые три недели – на десять, сказали, процентов продлевает жизнь...

«Я вам не подопытный кролик!»

«В вашем случае терять нечего – вы должны согласиться...»

«Я уже высказал свое мнение – НЕТ! Домой!»

Он пел – здесь, в Баку, за день до… «Мне хорошо, – объяснил удивленным родным, – очень хорошо. Вот и пою…»

Уходил мужественно. Почувствовав приближение неизбежного, попросил всех выйти из комнаты...

«Нуша, ölürəm, – подмигнул ей, улыбнулся. – Səni gözləyəcəm…»

Сложил руки на груди, пытался сложить… не получилось... Они упали в пол – вдоль кровати… и закрыл глаза…

Она рассказывает мне, как он… Мечется по опустевшему дому, стеная…

Из последних его стихотворений…

Sevgilim, mən öləndə,
Bir küncdə xısın-xısın
Ağlayacaqsanmı sən?..
Sevgilim, mən öləndə,
Soraq sənə gələndə,
Düşmən gözü güləndə,
Ağla, olanım, ağla,
Ağla, qalanım, ağla,
Ağla, mən ölüm, ağla…

Он оплакивал себя – ее слезами…

Ну как такое переведешь? И не пытаюсь, памятуя…

«Эх, Вагиф-муаллим, как не стыдно – классика великого не распознать! А вы говорите – хокку…»

«… Ужас!.. Скорее, hoqqa... Убийство песни, чего там…»

Плачь – единственная моя...
Плачь – все, что есть у меня...
Плачь... Умоляю тебя...

Его выносили – под плачущие аплодисменты…

Аплодисменты неодобрения…

«Нужно жить так, чтобы даже гробовщик плакал на твоих похоронах!» – сформулировал когда-то Марк Твен.

А вот и он, гробовщик. Стоит, оперевшись, на черенок лопаты – той самой, которой он… Стоит, румян, свеж, с холеным животом… Он взирал по сторонам, с безразличным любопытством разглядывая пришедших. …В ожидании старта… Равнодушный интерес – вот что читалось на его лице. Дело было привычное. Он почему-то не плакал.

Или, может, Вагиф прожил как-то «не так»… Не по Твену…

Не смогла заснять его, в упор смотрел. Может, учуял...

«Интеллектуальный труд равносилен физическому» – уверял Вагиф…

«Равносилен»… Усомнило… Изрядно… Глядя на переупитанного, с лопатой, и белую в черной бреши полосочку … которую ему предстояло…

Невесомый… переполненный… полный… пустой…

Лопата, земля…

«Кладбище» – от слова «клад»...

Еще одно светлое открытие того черного дня…

«Я понял, что прожил эту жизнь без гонорара»…

Осечка. Да вот же он. Вернее, она…

«Пепельница»… с дымящейся сигаретой у свежей могилы… Ее соорудил какой-то парнишка. Нашел ракушку, выкурил сигарету и вложил в нее – пусть он там…

Сизый дымок взялся вязью ненаписанной вирши…

Такого «вечного огня» мне еще видеть не доводилось…

Живописно так вился – в покойный, солнечный совсем не по-январски, день…

Dar məzarı istəmirəm,
İstəmirəm kəfəni,
İstəyirəm yazda qar tək
Günəş basdırsın məni...

Я не хочу могилы тесной,
И савана не надо мне,
Хочу, чтоб солнце хоронило –
Растаять снегом по весне –

стучало рифмой во мне…

«Игра в снежки летом» – так называлась она из его книжек.

Он «диктовал» свои условия, продолжая свою беспощадную режиссуру…

Пели соловьи… Или это его птички, прилетели за ним, проводить – те самые попугайки… из дома…

Я все смотрела на ту ракушку, с дымком…

«Кладбище стихов во мне… их не воскресить…»

Он ошибся.

Я продолжала листать их…

«Плохо сплю… непродолжительным сном…» – жаловался в последнее время.

«Непродолжительным»…

Я впервые видела могильную яму. Сама не поняла, как оказалась у самой ее… и отчего-то – не содрогнулась. Смотрела в ее ждущие объятия и удивлялась… себе. Ничто не испугалось во мне. Семь лет, как не стало моего брата, а я все еще не видела его могилы! Не могла, и все тут…

А тут… Стояла, смотрела и не… Заиндевела в коматозе, или, пребывая в двух состояниях… Это Вагиф сделал меня непроницаемой…

Как же многое он мне подарил! Одарил, можно сказать, этим ощущением небоязни, этой органики Бытия… Без пресловутых переходов в…

Бытия – без контрастов…

Без мостов и занавесей…

Вот оно – «Гении учат и после смерти»…

Нет!!! Уже самой своей смертью!

Вагифа провожали тихо. Без речей умогильных и клятв в вечной памяти… Смысл клясться? Клясться в том, что яснее дня? «Клянусь, что это верхушка кипариса, а не сосны или елки…» Тихо было. Все молчали, плача. Говорил он…

Или – земля…

«Голос земли»…

«Səsim gəlir?»

«Hələ bir müddət gələcək...»
...Поставьте туда
пару башмаков,
Пусть разутый
обуется и уйдет...

... вздрогнула у «порога»...
Того самого... «распоротой»... увидев...
Да вот же она –
пара башмаков... черная...
та самая... у могилы...
вырытой...
пара башмаков...
все, как завещал...
не мираж вроде...
зря он не верил в мистику...
кто-то нырнул туда, разувшись,
для того чтобы...
не знала про такой ритуал...
впервые видела...
я пребывала в двух ипостасях,
точнее, одной...
полуживой...
размытый снимок получился...
с мобильного...
как его размытые истины...
рука дрожала...
сердце билось в плечах...
В пульсе межмирья...
Он вверг меня туда, купировав выходы...
Или – это и есть единственно верное местонахождение всего сущего, его точный адрес???

... И чьи-то руки задрожали,
И поселился в ком-то страх...
Во тьме – сплошной скалы надгробье:
Победу торжествует прах...

«Пусть разутый обуется...»
Оглянулась – разутых не было...
И Билл Эванс не звучал, его любимый... Как ему хотелось...

... осиротелые листья
Стенают на весь белый свет ...

... Я пришла к нему, домой, его там не было... Гостиная, та самая, где мы с ним «болтали» – я не узнавала ее. Будто обузилась. И дверь входную не узнала, проскочила этаж – туда, повыше... Собственно, он ведь и был уже где-то там... Как часто, не обдумывая, мы делаем куда как верные шаги...

Его сравнивают с Ф.Г.Лоркой, с Сезаром Вальехой, Эмили Дикинсон... Все так, но

отчего-то не лестны они, эти сравнения, в контексте Самедоглу. Бессмысленные рвения объяснить себе его, отталкиваясь от уже известных «точек отсчета». Так, например, вклад, внесенный им в азербайджанскую поэзию, уподобляют вкладу, внесенному в поэзию французскую Артюром Рембо, в австрийскую – Георгом Штраклем… Один из издателей его стихов, француз, вынес нам фактически вердикт: «Вы, азербайджанцы, будете судимы судом истории за то, что до сих пор его не знает Запад».

Что поделаешь, время было такое. Время, когда любая творческая мысль заканчивалась на границах СССР. А он… Не задумывался никогда – оценен в соответствии со степенью своей одаренности или не оценен...

Много их, горько сожалеющих, что родился он не у них – в Италии, Латвии, Германии, Грузии, Америке, Польше, называющих его не иначе как «азербайджанское чудо!»... Он из тех, кто мог бы украсить своим наличием культуру любой страны. Это истина. Азербайджану повезло…

Вагифу…

Ты уходил, поэт,
простившись до
рожденья,
ты уходил во мрак
неоновых светил...
Вослед тебе неслись
твои
аплодисменты
и рявканье и н ы х –
причин твоих
седин...

Ты уходил, поэт,
оставив миру
Слово...
Ты уходил от нас,
ногой к нам
не ступив...
И правда была в том
Бессмыслии
прихода
под тявканье и н ы х
завистливых
детин...

Ты уходил, поэт,
с пригоршнями
Вопросов,
их ценностную кладь
до крошки
раздарил...
Ты уходил, оставив
Макрокосм нам...
И – пустоту и н ы м ,
пред кем

не лебезил…

Стихи писать после него начала не одна Бетти Блэйер…

Такое вот посвящение Вагифу – само собой нарифмовалось...

После прочтения в Интернете «мнения» о Самедоглу «эксперта-селекционера», с целью максимально запомниться и, быть может остаться в…

Комья грязи – вслед гробу…

Может, гробовщик тот написал, с лопатой…

Или таксист – тот, первый, не слыхавший о театре…

Или же – тот, кто, арестовав тираж его первой книги, не издавал полвека… чуть меньше, может…

«Я врал, но не обманывал»…

Заткнуты ненавистью уши
И злобою забиты души…

…Вновь вспомнилась встреча с Анаром, который вызвал меня…

«Что пишешь? О Расуле, говорю, огромный получается, не могу собрать…»

«Знаешь что, Расул подождет, пойди к другу моему Вагифу, юбилей у него. Сделай книгу – у тебя получится, вот увидишь»…

«Расул подождет»…

Странно, выходило, что у ушедшего из жизни есть время на ожидание, а у еще живого… Неожиданное «просветление» – и какую такую «логику» усмотрел в смерти Вагиф?! Хотя…

«Родился в 1939-м, в 1937-м посадили»…

… И вот мы встретились с ним – два бывших пианиста, не любящих (или не умеющих) преподавать...

Грустно и смешно…

Тогда, по дороге домой я больше не искала их, «совпадений», которые лишь отдаляли… Меня одолевал сумбурный поток образов, их осколочная толчея, их непрерывность…

… Консерватория за спиной… родились 5 числа… хаос на столе…

Вооруженная сим нехилым «арсеналом»… Как же я просчиталась! И все мои «созвучности» – они как бы… смелись. Будто гигантским обдувом...

«Попугаев развожу»… Уходила пристыженная, обжегшая, как плеть хлыста, мысль о том, что… Смешная самонадеянность, жалкие потуги «соответствовать»…

Я уходила от него – к нему в

Бесконечность…
Время…
Пространство…
Вчера…
Сегодня и
Завтра…

В Благотворность покаяния…

Честно выпотрошила диктофон – до словечка, до вздоха… Там ничего не осталось… Кроме…

Неожиданно услышала тиканье часов, зафиксированных лентой. Будто включен-

ный механизм… Странно, что там, с ним, я его не слышала…

Взглянула на часы, над письменным своим столом… Нам ведь только кажется, что это МЫ ИХ заводим…

Звонки к Нушабе…
На фоне тишины...
Молчат попугайки…
Будто забыли все, чему он их обучал…
Иль впрямь – улетели?

Кажется, это музыка
Брамса,
Может, Малера…
Одно время мог исчезнуть,
пропасть
среди этих звуков и аккордов,
превращался в невидимку
до последней тоники…
Теперь
Либо с последней тоники начинается
музыка дня,
либо жизнь превращается
в последний аккорд
музыки …
которая не прозвучит никогда…

* * *

Ay Allah, birçə arzum var: öləndən sonra tək olanda kiminsə yadına düşüm, ağlamasa da, gözləri dolsun...[1]

Стою в его комнате, где мы с ним простились…

Небольшая конусной формы – это и был кабинет, я разглядела его только сейчас…

Святая святых… Пустая кровать по центру зияла белой бездной, торжествующим акцентом… А интерьер – его как такового и нет…

Вот она, коллекция трубок, которой он так гордился, длинная вереница их, как у любимого его Твена… Фотоаппараты, их солидное множество, оружие на стене разнокалиберное, фотографии детишек, памятные сувениры от друзей со всего мира, аракчын… пара-тройка их… А еще спинет, как мне показалось… Или крохотный рояльчик напротив письменного стола – того самого, за который он так и не сел… И – запах… Вернее, дух – интеллигента-аскета…

«Вот прочтут и скажут, что притворяется каким-то Скрябиным. Скрябин видел цвета в музыке, а я – запахи слышу...»

Не притворялся он…

Плетусь в Союз.
Поднимаюсь на второй этаж.
Встречаюсь глазами с портретом – огромным, на всю стену, Самеда Вургуна.
С детства знакомый портрет, на котором поэт, запечатленный во весь рост, улы-

[1] О, Аллах, лишь об одном мечтаю: когда меня не станет, пусть кто-то помянёт, и если не всплакнёт, так хоть слезу обронит...

баясь, приветливо машет рукой.

Неожиданно жест этот странсформировался в прощальный – Вагифа…

Как же похожи они!

И как – непохожи.

Как «здравствуй» и «прощай»…

«Səsim gəlir?...»

Он зря беспокоился…

… *«Sən uzag yaşıl ada»*… Любимая песня моего отца… моего сына…

«Продажа островов, недорого»… Нашла среди прочего в интернет-барахолке. Перечла дважды. Его, Вагифа, острова, там не было.

Того самого, вдали зеленеющего… Несбыточным миражом…

Острова разлуки…

Книжка, написанная с одной беседы. А второй, я знала, не будет – не верю ему, второму впечатлению…

«…Я еще живой…

…Звуки…

… Я опять не то говорю…

…Моссс-ковсссская консерватория…

…Я неинтересно говорю, знаю…

…Когда успели отделить психологию от философии?..

…От Анара единственное жду: пусть он хранит мое детство…

...canım ona qurban…

…Только о музыке и говорим…

…Я вот при моих болезнях, что у меня сейчас, неизлечимых…

… Дал бы Господь Бог...

…Я глупости говорю, знаю…»

…Страшно это… как любая необратимость…

… Ой-ой-ой-ой…

…hayıf...

…bizdən getdi...

… Azərbaycandan getdi…»

Сказанное совсем недавно набирало высоту – в полете куда-то…

«Я здесь, Господи…»

Показалось, что он ответил не мне…

Сбой в повествовании – временной, глагольный… Зигзагом идет… Смешалось все во мне; было сейчас или – стало завтра…

Некролог-не некролог… Мерсиййе, скорее… От слова «мерси».

Некролог-благодарение…

Он продолжал «смыкать» народы…

… а я не могла найти точку на клавиатуре…

… Вернувшись домой с *его четверга*, одного из них, я увидела, уже с порога… елку. Наряженная сосновая ветвь, изрядно полинявшая, свисая со шкафа, выглядела неуместным праздником… Оказывается, я забыла ее убрать… И вот висит – плешиво нелепая…

Елка в… феврале…
«Игра в снежки летом»…
Он поломал мне книгу. Структурно поломал…
«Сделай книгу о нем – юбилей у него»…
То был май… Конец его…
Осенний май Вагифа Самедоглу…
Книга, задуманная в юбилей, дописанная к сороковинам…
«Жизнь вносит свою корректуру»… Затасканный слоган имел к моему случаю наипрямое отношение, придясь один к одному! Я бы его чуток переврала, исказив: «Смерть вносит свою…»
Искажение ради правды…
«Я врал, но не обманывал…»

Признания, ставшие моей реликвией…
Как и воспоминания о нем…
Как авторучка, подаренная мне, именная…

… Я уходила от него – в сумраке тайны. Той самой, какой пришла…
Передо мной пустынная вечность – пугающая и неизбежная…

P.S
«… Вы понимаете облака? Я – еще нет…»
Так начиналась наша с ним беседа… Его вопросом…
«… еще нет…»
Жизнь в конвульсиях дня и ночи…
Слушаю его, перечитываю…
Зачем пошла на интервью? Не знаю. Тщеславие, наверное.
Желание зацепиться за Вечность. Одну из ее знаковых фигур…
И – запоздалое сожаление о том, что не сделала этого раньше –
с кем же еще общаться, как не с ним? Вот ведь повезло как –
быть его со-эрником!
Хотя…
Пойди я к нему тогда, 4 года назад…
Написала б книжку «Вагиф Самедоглу – о войнах-мирах и далеком зеленом острове»… Вроде того.
Наверное бы, написала.
Может, и получилась она у меня, но…
Но не было бы в ней…
Не было б в ней доминант, которые кричат!
Из-под земли…
В Небо…
Говорят, цель литературы, одна из ее целей, – вернуть время.
Вернуть человека, «остановив» его, не дав уйти…
Я попыталась сделать это…

ЭЛЬБЕРД ТУГАНОВ

Силуэт

Мне было холодно и сонно
Среди чужих и плоских лиц,
Когда меня из-под ресниц
Вдруг обожгли два черных солнца.

На тускло матовом экране
Зажегся смуглый силуэт,
Он источал зовущий свет
И острием надежды ранил.

На поиски злата руна
Дни понеслись
с беспечным свистом,
Запело лето, как струна,
Натянутая в небе чистом.

Янтарный зной звенел, как саз,
А разум плавился, как плазма,
И таял в пламени соблазна
Неотвратимо жгучих глаз.

С простым пожатием руки
Рождались трепетные строфы,
И звали в бездну катастрофы
Воззваньям смысла вопреки.

Ну как забыть теперь об этом?..
Ведь, кажется, еще вчера
Твой смех звенел, как баккара,
И отзывался звездным эхом.

А нынче ночь душнее склепа,
И время шепчет мне не зря,
Что мне любить тебя нельзя,
Что это глупо и нелепо.

И что смешна моя бессонница...
Прощай, мой смуглый силуэт,
За незабвенный этот свет
Спасибо вам,
два черных солнца!..

Лунный этюд

Все принимаю так, как было
В твоей причудливой судьбе,
Во все влюблен с ревнивым пылом,
О, говори мне о себе!..

Как новый штрих в твоем портрете,
Хочу в ретроспективе дней
Тебя увидеть в лунном свете
Глазами юности твоей.

Косые лунные квадраты
Я различаю на полу,
В тиши клинической палаты
Сеидка молится в углу.

Беловолоса, темноглаза,
Лицом ущербная луна –
В пылу молельного экстаза
Все улыбается она,

И на тебя глядит недаром,
Она все скажет наперед:
«Ты сватов жди на третий год,
Тогда и мне пришлешь подарок....»

Закрылась лунная страница,
Дни побежали, как вода,
В душе смывая без следа,
Чужие, будничные лица.

Я к той поре питаю страх,
Что если, вдруг тебя не встречу?..
Родная, на семи ветрах
Лети, спеши ко мне навстречу!..

Я лунному календарю
Обязан счастью этой встречи,
Ту бабушку боготворю,
Как символ светлого предтечья.

Но где теперь старушка эта?
Как наградить ее за труд?..
...У нас сеидами зовут
Прямых потомков Магомеда.

* * *

Туманный март стоит у окон
И красит город в новизну.
А ты встречаешь одиноко
Уже не первую весну.

И, вроде бы, спокойней стала,
И дом не кажется тюрьмой,
Но стынет мир в глазах усталых,
Как в заколдованном трюмо.

Он черно-бел, как на гравюре,
Он – клавишей двуцветный ряд,
В аккордах – солнечные бури,
Да те аккорды не звучат…

Рояль, как черный саркофаг,
Ржавеют струны в том рояле,
Как будто вовсе не играли…
Под крышкой тишина и мрак.

В потоке минусов и плюсов
Ты – затерявшийся нейтрон,
А нигилизм и норм, и вкусов –
Неодолимый этот сон.

Ты существуешь лишь отчасти,
Собой не бывшая в себе.
И нет ни счастья, ни несчастья
В твоей несбывшейся судьбе…

И я, смятением объятый,
Хочу твой сон трубой пронзить,
Кричу и бью во все набаты:
– Проснись, красавица,
проснись!..

Слова и образы

При рождении Мира вначале
Было Слово–прообраз, мечта.
Нам лишь образы снятся ночами,
А слова – все одна суета.

Но в божественный час вдохновенья
Вся ничтожная суетность фраз,
Волей магии воображенья,
Превращается в пиршество глаз.

И во мраке, холодном и зыбком,
Ослепив, как ночная гроза,
Вдруг мелькнет озорная улыбка,
И бездонные встанут глаза,

И небрежно спадающий волос,
И изысканно строгий наряд,
И по-детски надломленный голос,
И пытливо насмешливый взгляд.

Все, и чуткие, нервные руки,
Что так страстно ласкали рояль,
Извлекая волшебные звуки,
Исторгая восторг и печаль.

Все сливается в образе чистом:
И мугама космический блеск,
И раскаты рапсодии Листа,
И модерного джаза гротеск.

Те аккорды давно отзвучали,
И тот образ – всего лишь мечта.
Говорят, было слово вначале,
Нет, вначале была –
Красота!..

Проводы любви

Мой друг, поговори со мной
Спокойно и сердечно.
Ничто не вечно под луной,
Все на земле конечно.

Прости меня, мой милый друг,
Прости великодушно
За то, что нынче, как-то вдруг,
Вдвоем нам стало скучно.

Как будто серый холодок
Закрался между нами,
И я воспеть тебя не смог,
Ни сердцем, ни делами,

Что вместо счастья обрести
Помог тебе усталость,
Что вместе нам с тобой брести
Недолго уж осталось.

Что нам – увы! – не по пути,
Судьба нас не венчала,
И что последнее «прости»
Так скучно прозвучало.

Моей маме

И вновь шаманят буйные ветра,
Седые космы распуская вьюгам,
Сплошная ночь – с утра и до утра –
Тиранит душу тягостным недугом.

А мне легко в глаза твои глядеться
И, словно оживая под стеклом,
Они лучатся ласковым теплом
Воспоминаний солнечного детства.

Когда мой мозг устал от суеты,
А в сердце злая непогодь разлуки,
Как много светлых сил мне даришь ты
Среди унынья, пошлости и скуки!..

И лишь тобой печаль моя светла,
Когда шаманят буйные ветра.

Исповедь однолюба

(Шутливое)

Я женщин знал широт планеты всей –
Особенно мне нравились мулатки
Экзотикой тропических страстей
И нежностью молочной шоколадки.

Я не боялся в прегрешенье впасть,
Любя в лугах ивановских крестьянок,
И укрощал безудержную страсть
Неутомимых знойных негритянок.

Знавал и гейш в изысканной красе,
И андалузских пламенных цыганок,
Монашек, амазонок, нимфоманок –
Мне бескорыстно отдавались все!..

Спортивные блондинистые шведки
И смуглые тайландки-травести,
И с Пляс Пигаль капризные кокетки,
И ненки в чумах...
– Господи, прости!..

...Но в этих пароксизмах наслажденья
Я благодарен умнице-судьбе
За то, что лишь игрой воображенья
Всех женщин мира знал –
в одной тебе.

Элегия в черно-красных тонах

…Не плачь, мы все покинем мир,
Где все не просто, не случайно,
Но, если жизнь – желаний пир,
То смерть – загадка изначально,
Как во вселенной «черных дыр»
Всепожирающая тайна.

Как свет тобой согретых лет,
Как все, что жило под луною,
Исчезну я – бессмертных нет,
Уйду, но и смирясь с судьбою,
Я, оставляя этот свет,
Расстаться не смогу с тобою.

Моя земная благодать,
Не стану я тебе ни сниться,
Ни тайных знаков посылать,
Грустя в загробной заграница,
Но буду зорко наблюдать,
С тобой грустить и веселиться,
И наслаждаться, и страдать.

Все радостям земным причастна,
Живи, желаньями горя,
И жив я буду ежечасно
Всем, чем живет любовь моя…

Но если будешь ты несчастна,
Знай – вновь умру от горя я.

МЕНЗЕР НИЯРЛЫ

ПРЕРВАННЫЙ ОТПУСК

Повесть

Перевод Мирзы ГУСЕЙНЗАДЕ

То ли духота, тянущаяся с моря, убаюкала Шамсию, то ли этот человек, которого она встретила в первый же день, как приехала в санаторий, – его голос, взгляд, теплая улыбка. Она так и не смогла понять. Шамсие казалось, что она попала в волшебный мир. Здесь был этот человек. Человек, который снился ей в тяжелые дни ссор с Агагусейном. Тот человек смотрел на нее совсем не так, как Агагусейн, не смотрел на нее строгими глазами, когда у нее начинались головные боли, так что темнело в глазах, в такие минуты он не говорил, как Агагусейн: «Опять у сумасшедшей припадок». Его взгляды несли утешение, заботу. Он опускал руки на ее голову, осыпал принесенными цветами ее волосы. Спрашивал: «Ну как, голова больше не болит, Шамси? Потерпи, Шамси, потерпи, дорогая, сейчас все пройдет». А Шамсия не знала даже его имени. Она не могла понять, когда, в какие мгновения она создала этот образ в своем воображении. После того как вышла замуж за Агагусейна или еще раньше. Она не могла вспомнить даже этого. В одном только Шамсия была уверена – этот человек существует. Он живет в ее сердце. Но он был гостем не только ее снов. Она видела его постоянно. И когда стирала, и когда готовила, и когда подметала двор, и когда купала своих детей Намишу, Гариба и Илькина. Он улыбался Шамсие, протягивал ей цветы и исчезал. А иногда по ночам он брал ее за руку и уводил с собой в горы, леса, где срывал ей эти цветы и подносил ей. Были это и маки, и ромашки, и жасмины. Их аромат, благоухание Шамсия вдыхала и во время стирки, и когда убирала дом, что-то напевая при этом, а сама при этом то грустила, а то – улыбалась. Она на всякий случай берегла их в сахарнице, которую из предосторожности прятала в стенной нише. К сахарнице она не притрагивалась, пока цветы там не увядали. А когда они уже начинали вянуть, вновь появлялся этот человек. Он протягивал ей новый букет, говоря: «Возьми, Шамси, прими их, дорогая. В горах еще много цветов. И не печалься тому, что цветы вянут, Шамси. Я до конца жизни буду дарить тебе цветы». И снова Шамсия прижимала цветы к груди, а потом прятала их.

***

Ей и в голову не могло прийти, что человек, являющийся ей во сне, человек, которого она видела постоянно, вдруг встретится ей в первый же день приезда в санаторий, и предстанет он перед ней в образе застенчивого парня с невинным взглядом. Что-то заныло в ее душе с первого мгновения, как она увидела его. Отчего он смотрит на нее украдкой? Отчего не отходит от ее окна? Шамсия ничего не могла понять. Она пребывала в смятении.

В этот вечер, как обычно, Шамсия стояла в своем маленьком одноместном но-

мере. Прямо рядом со шкафчиком для одежды. Сердце ее трепетало. Оно готово было выпорхнуть, как птица. Потому что этот человек снова стоял под ее окном.

Сколько он там стоит – час ли, два? А Шамсия все не двигалась с места. Так и стояла, замерев, около шкафчика. Но наступило одиннадцать часов, послышались тяжелые медленные шаги служительницы санатория Тутуханым-арвад, которая, подходя к каждой двери, объявляла о том, что пора гасить свет и ложиться спать. А потом она и сама, погасив свет в коридоре, легла спать на стареньком диване. Шамсия потянулась к выключателю. В комнате стало темно. Но с места она не сдвинулась, тело ее била дрожь, черные глаза блестели во мраке. Тот человек не увидел блеска ее глаз, он вздохнул и ушел. А она еще долго смотрела на то место, где он стоял, потом разделась и легла в постель, долго ворочалась, пока сон не сморил ее.

В ту темную ночь Шамсие снова приснилось море. Холодные ледяные волны бились о скалы, о ступни, колени Шамсии, которая стояла на скале и громко пела. Шамсия пела и знала, что у нее хороший голос, доходящий до сердца слушателя. А море завидовало Шамсие, ее иссиня-черным волосам, прекрасному голосу. Море с ревом бросало свои волны на скалы, словно хотело поглотить Шамсию. Шамсия и не думала бояться, она все пела, но вдруг потеряла равновесие, поскользнулась и упала в море, голос ее стал тише, увял, она почувствовала, как скала уходит из-под ног, а она не может справиться с этим бесконечным морем. Ей стало жаль себя, она чувствовала, что умирает. И, как утопающий хватается за соломинку, Шамсия ухватилась за свой голос, закричала изо всех сил, прося о помощи. Она молила, чтобы ее спасли из жестоких объятий моря, иначе сейчас волны швырнут ее о скалы. Шамсия громко рыдала, и вдруг вдалеке увидела хорошо знакомую тень. Тень того человека. Она обрадовалась и, полная счастья, протянула ему руку. Но плывущий в ее сторону человек вдруг передумал, повернул к берегу и исчез среди скал. Шамсия обомлела. Она долго смотрела ему вслед. А потом, не переставая плакать, оглянулась и увидела, что издали к ней тянется рука, и это была рука ее старшенькой – Намиши. Потом оказалось, что это рука ее среднего сына Гариба, но нет, это была рука ее младшего сына Илькина. Рука стала расти, и Шамсия узнала ее. Это была рука Сократа Зохрабли. «Дай руку, дочка, – говорил Сократ-муаллим, – не бойся, я здесь». Лица его она не видела, но руку узнала. Она прекратила рыдать, улыбнулась и протянула мужчине руку. Запрыгнула на скалу и птицей оказалась на берегу. Сократ-муаллим осторожно отпустил ее руку и ладонью утер ей слезы.

– Тебе холодно? – спросил он, совсем как отец Шамсии Гариб-киши.

– Нет, – ответила Шамсия и снова улыбнулась.

Но тем не менее, она вся дрожала, так что зуб на зуб не попадал. Сократ-муаллим развел на берегу костер. Погруженный в темноту берег осветился светом огня.

Они оба согрелись у костра. Шамсия раскрыла перед стариком свою тайну. Сказала, что влюблена в мужчину, выдуманного ею, но которого нашла в этом санатории. Он каждую ночь стоит под ее окнами. В прошлый раз он внимательно посмотрел на Шамсию и сказал, что давно, очень давно знает ее. А здесь узнал ее по глазам.

Не отрывая взгляда от моря, Шамсия спросила у Сократ-муаллима:

– Разве может быть такое, чтобы влюбилась в человека, которого никогда не видела, чтобы он жил в твоем сердце, а потом бы ты встретилась с ним? Он тоже узнал меня. Узнал как только увидел…

Но продолжать она не смогла. И замолчала, продолжая дрожать.

– Я понимаю тебя, дочка, – ответил Сократ-муаллим. – Бывает так, что то, чего

человек не находит в жизни, он переживает в мечтах. И тогда он живет этой мечтой, дышит ею.

Они долго молчали. И море, которое перед тем гневно швыряло волны на берег, тоже затихло. Словно переводило дух. И у Шамсии, глядящей теперь на притихшее море, поднималось настроение. Ей снова захотелось петь, и она запела, а перед ее глазами стоял тот мужчина. Но вдруг ей вспомнилось давешнее странное поведение человека, голос ее задрожал и она умолкла…

***

Она взволнованно открыла глаза. В комнате уже было светло. Но пережитое во сне волнение все еще не покидало ее. В сердце закралось ужасное предчувствие. Ей снова представилась картина, как Мурад, а именно так звали этого всегда красиво одетого парня, в тот момент, когда она тонула, не бросился к ней на помощь, а – напротив – вдруг исчез. Но ведь тот человек был не таким. Потом ей вдруг вспомнилась песня, которую она пела во сне, и сердце ее омыла теплая волна.

Прозрачность теплого осеннего солнца, светящего через окно, успокоила ее. Сколько же в мире есть спокойствия, вольности, чистых, светлых утренних часов, полных ласки и беззаботности мгновений, подумала Шамсия. Она спит сколько хочет, отдыхает сколько угодно. И нет домашних скандалов, склок, нет ежедневных поводов нервничать. Здесь забылся даже муж Агагусейн.

Дни ее проходили в покое, к которому она еще не могла привыкнуть. Открыв глаза утром, она погружалась в нежную прохладу комнаты, ее приятную чистоту и порядок, стоило ей открыть окно, как в комнату врывался свежий, легкий ветерок с моря, шепот листьев, непрерывное чириканье птиц, сливающееся с чистотой воздуха. Она с удовольствием слушала покой вокруг, любуясь открывающимся за горизонтом морем. А потом, когда вспоминала, что ее ждет беззаботный, без криков и ругани день, душу наполнял бесконечный восторг.

С таким настроением она отправится в столовую. Там ее уже будет ждать готовый завтрак. Она возьмет меню, выберет понравившиеся блюда. И ей уже не надо будет кричать на детей, слушать вздор Агагусейна. Все, кто приехал сюда отдохнуть, подлечиться, чувствовали здесь себя бодрыми, счастливыми. Все относились друг к другу с уважением, почтительно, обращаясь к Шамсие, обязательно добавляли уважительное «ханым». «Доброе утро, Шамсия-ханым», «Помогает ли вам лечение, Шамсия-ханым?», «Шамсия-ханым, если не трудно, займите и мне очередь к врачу»… Не скрылась от внимания и красота Шамсии. Говорили ей комплименты, от которых она давно отвыкла. Правда, Шамсия не обращала на них внимания. Но отчего-то давно известные ей стихи, которые она услышала от Мурада, произвели на нее приятное впечатление. Проходя мимо Шамсии, он словно про себя, но так, чтобы слышала и она, произнес:

– Подойди ближе, красавица, подойди немного ближе,
Чтобы слова мои не остались тайной, известной только мне,
Приди, и взлетим с тобой высоко в небеса,
Чтобы усталые мои глаза не смотрели на дорогу.

Она вздрогнула и улыбнулась. Вытащила из-под подушки маленькое зеркальце

и поднесла к глазам. Это зеркальце подарила ей Валида-ханым. Она долго смотрела в зеркальце, внимательно и с интересом разглядывая свое лицо, улыбнулась. Давно забытое чувство вновь проснулось в ней. Потом она вспомнила Агагусейна, и у нее опять заболела голова.

Она и в санаторий попала из-за нервов. Врач в поликлинике настаивала, что как бы там ни было, но в этом году Шамсия обязательно должна подлечить нервы. Было бы хорошо, если б она поехала в санаторий. Ей какое-то время нужно пожить в тишине. Слушая врача, она думала о том, кто же определит ее в санаторий, кто даст денег, кто позаботится о ней там? Агагусейн? А разве не сам Агагусейн довел ее до этого состояния?! Да еще дети! Разве не крики и шум трех детей довели ее до сердечной болезни? Как она, бедняжка, могла добиться в доме покоя?! Конечно, если бы Агагусейн вел себя с ней как человек, Шамсия могла бы и с детьми быть спокойной, не так бы часто ругала их, если кто-то из детей не делал того, что она требовала. А так – она тут же начинала кричать, бросалась на них, как львица.

Врач говорил, что это от расстроенных нервов. То же самое повторяли соседи. Они не говорили этого открыто, а тихо шептались между собой: «Бедняжка, она снова разнервничалась, а была такой здоровой женщиной. Будь проклят этот Агагусейн. Совсем не дает жене жизни. Вы посмотрите на него – не лицо, а сплошной яд».

Она снова вспомнила об Агагусейне и настроение ее испортилось. Ведь через несколько дней ей придется снова вернуться к нему, покинуть этот волшебный мир. Душой Шамсия была с детьми, она очень скучала по ним всем, но возвращаться домой не хотела. Она впервые в жизни была свободна от семейных забот, впервые в жизни поехала гулять одна. Конечно, это нельзя было назвать гуляньем в полном смысле слова. Санаторий – место, где лечат, и жизнь отдыхающих здесь делилась на две части – первая половина дня была посвящена лечению. Каждый день после завтрака Шамсия с удовольствием пила насыщенную бромом воду, вставала в очередь на уколы, принимала ванны, ходила на прием к врачу. Эти однообразные процедуры надоели ей, как очереди за картошкой или помидорами. В комнатах ожидания стояли мягкие кресла, и Шамсия с удовольствием садилась в одно из них. Старалась скорее закончить со всеми процедурами и спешила на безлюдный берег, к одиночеству.

Когда Шамсия впервые увидела море и встретила на берегу седовласого мужчину – Сократ-муаллима, память перенесла ее на много лет назад, думая об этом, Шамсия взгрустнула. И у ее отца Гариб-киши волосы тоже были седыми, и он, как и Сократ Зохрабли, был влюблен в море.

Направление в санаторий ей на работе дали с легкостью. Она работала гардеробщицей в институте, принимала в маленькое округлое окошко пальто, плащи, а кроме этого больше ничего не было видно. Работа была нетрудной и утомление от домашних забот здесь проходило. К тому же место работы находилось рядом с ее домом. И ей не приходилось толкаться в автобусах.

Если слушать Агагусейна, то она должна была бы жить одним воздухом, запивая его водой. Сам он зарабатывал хорошо, но деньги давал понемногу. Он торговал на рынке зеленью, луком, но Шамсия стыдилась не этого, а того, что он обманывал покупателей. Что с того, что торгует, как многие мужчины? Лишь бы деньги он зарабатывал честно. Лишь бы был хорошим мужем, заботливым отцом. Чтобы он, как хороший муж, заботливый отец, приходя домой, был бы приветлив с детьми, с самой Шамсией, брал бы на руки их младшенького Имиша, играл с ним. Эх, все это были мечты. На самом деле Агагусейну нельзя было слова сказать. Он тут же начинал ре-

веть на весь двор и угрожал Шамсие:

– Сучка, разведусь с тобой, выгоню из дома, будешь тогда проклинать себя.

Именно из-за этого «разведусь» Шамсия стала искать себе работу. Во многих местах ей отказывали, заставляли по нескольку раз приходить. Но наконец, муж Валиды, Фамиль Агаевич, устроил ее сюда. Это была та самая легкая работа, которую она искала. Но работа ей совсем не нравилась. Ей там было скучно. Хотя ведь при этом ей безо всякой очереди и волокиты выписали направление в этот санаторий. Их начальник Гани-киши тут же вызвал к себе председателя месткома и велел отправить в санаторий Шамсию Гариб гызы, так как она нуждается в лечении нервной системы.

– Пусть поедет и отдохнет там. И вообще эта женщина пришла к нам по протекции Фамиля Агаевича. Не хватало еще, чтобы до него дошли слухи, будто вместо настоящих больных мы приберегаем направления для себя.

Получив направление в санаторий, она не смогла досидеть до конца рабочего дня и убежала домой. Она не думала, что Агагусейн окажется дома. Тот приходил домой то рано, то поздно ночью, а то и вообще не являлся. А когда она спрашивала, говорил, что ездил за зеленью в Мардакян, или же поднимал крик, мол, никто в этом доме не имеет права требовать у него отчета. До Шамсии в последнее время доходили слухи, что у него появилась женщина, и часть заработка он отдает ей. «Она ему в матери годится. Работает подавальщицей в какой-то шашлычной». Поначалу Шамсия этим слухам не верила, потому что хоть и знала, что Агагусейн бабник, но в то же время знала о скупости мужа. У того зимой и снега выпросить было трудно. Но потом поверила в это. Но самое странное, что она не ревновала его, только стала еще сильней презирать мужа и хотела лишь одного, чтобы он приходил домой нормальным, не искал повода для скандалов.

Все соседи узнавали, когда Агагусейн приходил домой. Сначала он бросал в угол пиджак, садился на стул и, свесив вниз руки, говорил:

– Слушай, Шамсия, ноги у меня одеревенели от стояния. Принеси мне поскорее чай. Очень пить хочется. Да посмотри, есть там гатыг?

А Шамсия отвечала ему:

– У нас закончился сухой чай. Сегодня я детям давала просто кипяченую воду.

И тогда Агагусейн выходил из себя:

– Слушай, война началась, что ли? Почему в доме нет ни крупинки чая?

Разгорячившись, муж переходил к ругательствам. Причем ругался он грязно, так что приличные соседи тут же закрывали окна, чтобы дети не слышали. Но дети впитывали его ругательства. А уж дети Шамсии – естественно. Если б надо было сдавать экзамен по брани, они были бы отличниками. Шамсия за это давала им подзатыльники. А бессовестные соседи тут же начинали что-нибудь делать во дворе – вытряхивать ковры, развешивать белье. При этом с удовольствием слушали, как ругаются Агагусейн с Шамсией.

В тот день, когда Шамсия получила направление в санаторий, Агагусейн пришел домой рано. Кажется, с торговлей не все шло ладно, поэтому он был сердит. Шамсия собирала чемодан. Увидев удивленный взгляд мужа, она буркнула, что врач отправляет ее в больницу. Мол, говорит, что, если так будет продолжаться, состояние ее совсем испортится. Шамсия специально назвала санаторий больницей, потому что в больнице люди лечатся, а в санатории отдыхают.

– Завтра поеду туда. За детей я спокойна, они о себе смогут позаботиться. Намиш уже взрослая девочка, будет кому присмотреть за Имишем, да и Салиму я по-

просила приглядывать за детьми. Та обещала проследить за ними, готовить им обед. (Они жили с Салимой в одном дворе.) Езжай спокойно, сказала она. Отпускные я уже получила. На половину этих денег я что-то куплю домой.

Агагусейн, сверкая глазами, заревел:

– Слушай, какая больница?

Шамсия назвала санаторий и добавила, что там всех вылечивают. Агагусейн в гневе так хлопнул по столу, что у того задрожали ножки:

– Не говори глупостей, какой тебе еще санаторий?! Оставайся дома, говорю тебе, не то…

– Нечего тут командовать. Я не просто так еду туда, мне врач прописал. Да и путевку не каждому выдают. И путевку получила от профсоюза, они за все заплатили. Я дала всего сорок шесть манатов. Люди за путевку платят по семьсот, тысячу манат. К тому же это не твои деньги. Я еду за свой счет.

– Бедняжка, – ответил Агагусейн, – да что ты знаешь о мире?! Ты не сравнивай себя с теми, кто платит за путевки по шестьсот, тысячу манатов. За такие деньги люди едут за границу. В Польшу, Венгрию, Францию. Туда Агаевич едет… Валида-ханым каждый год ездит…

Дом Фамиля Агаевича был в квартале от них. Поэтому они считались соседями. Фамиль Агаевич преподавал в университете. Несколько лет он принимал экзамены. А на днях Валида-ханым сказала, что ее муж хочет поменять дом. Ему этот квартал не нравится. Хотя сам он вырос в этом квартале. Именно он устроил Шамсию на работу. По просьбе Валиды.

Когда Валиде-ханым подходило время красить волосы хной, она выходила во двор, ловила кого-нибудь из ребят и посылала за Шамсией.

– Сынок, сбегай к маме и скажи, что Валида-ханым зовет ее. Поскорее.

– У мамы голова болит. Она спит.

– Беги, беги. Кто же спит в это время? А то ночью не заснет. Беги, позови ее.

А Шамсия, даже если у нее и вправду болела голова, тут же поднималась, шла к Валиде и накладывала на густые, короткие волосы Валиды густо заваренную иранскую хну. А та, сидя к ней боком, убаюканная теплой хной, которую втирала Шамсия, рассказывала ей интересные истории о городах, где бывала, о людях. Валида-ханым была приветливой и щедрой женщиной. Каждый раз, возвращаясь из заграницы, она привозила Шамсие и ее детям подарки. А Агагусейну она ничего не привозила.

– Терпеть его не могу. У него такое противное лицо, – говорила она.

После укладки хны Шамсие долго снились города, о которых рассказывала Валида-ханым. Человек, который являлся в мечтах Шамсие, возил ее по разным далеким городам. Там, в этих прекрасных городах, Шамсия расхаживала в красивых одеждах, покупала себе замечательную обувь. Этот человек покупал Шамсие ту самую хну, которой красила волосы Валида-ханым. И Шамсия тут же замачивала эту иранскую хну и красила себе волосы, а он потом проводил рукой по ее волосам и говорил ей: «Какие у тебя красивые волосы, Шамси, мягкие, как шелк».

Глядя на Агагусейна, Шамсия думала: «Да будь я проклята. Зачем я отчитываюсь перед этой занудой? Разве с ним я видела что-то хорошее?» Агагусейн увидел, что Шамсия больше не обращает на него внимания, а, что-то напевая, укладывает вещи в чемодан, и обычная ругань застряла у него в горле. Больше он жену ни о чем не спрашивал. Шамсия, тайком поглядывая на него, поняла, почему он замолчал. После того как к ним однажды приходили два милиционера, он стал совсем мягким.

Поначалу, когда они пришли к ним, совсем другие мысли закопошились в голове Агагусейна. Он решил, что раскрылись его грехи в торговле. У него не было нужных документов. Он мог погореть из-за этой зелени.

Шамсия тоже не забыла дня, когда скандалила с мужем. Тогда у ее среднего сына, Гариба, был сильный жар. Это Шамсия обнаружила среди ночи. Она пару раз стукнула в бок храпящего рядом с ней Агагусейна:

– Агагусейн, Гариб горит, у него высокая температура. – Агагусейн сонно посмотрел на жену и повернулся на другой бок. – Проснись, – чуть не плача сказала Шамсия, – иди за врачом. Ребенок еле дышит.

Агагусейн еще раз поднял голову, хмуро посмотрел на Шамсию и скрипнул зубами. Шамсия не выдержала это и снова что-то сказала.

– Слушай, – сказал Агагусейн, – не приставай, дай мне спокойно умереть.

Шамсия поняла, что от Агагусейна ничего не добиться. Что же ей делать, как поступить? К кому среди ночи можно обратиться за помощью? Может, позвонить от Салимы, вызвать врача? Но тут вспомнила, что телефон Салимы не работает. Она может позвонить от Валиды-ханым, но неудобно будить их в такое время. Сама Валида-ханым ничего бы не сказала. Но Фамиль Агаевич, даже если средь бела дня постучать к ним, корчил такую рожу, что даже нищий не стал бы просить у него милостыню.

Шамсия не сводила взглядов от Гариба. Лицо ребенка бледнело на глазах. Она еще сильней запаниковала. Оставалось только одно – самой пойти за врачом. В паре кварталов от их дома находился пункт скорой помощи. Скандал произошел именно в тот день.

Агагусейн совсем не хотел просыпаться. Но очень мучала жажда, потому что он где-то успел выпить. Вообще-то Агагусейн пил в очень редких случаях. Только если удавалось хорошо заработать. Шамсия даже удивлялась, увидев его выпившим. Что такое, Агагусейн? Интересно, за чей счет он выпил?

Воду у них давали только по утрам и вечерам, поэтому Шамсия хранила ее в трехлитровых баллонах. Агагусейн поднес баллон ко рту и с удовольствием выпил. Ложась обратно в постель, он обнаружил, что Шамсии в постели нет. Жены дома не было. И тут он вспомнил, что Шамсия что-то говорила ему ночью. Он посмотрел на застонавшего мальчика. Понял, что Шамсия побежала за врачом. Гнев ударил ему в голову. Что она потеряла среди ночи на улице? Он вскочил и бросился к входной двери. Как раз в это время Шамсия с врачом поднимались по лестнице. Врач был молодым, еще недозрелым парнем. Машина скорой помощи стояла во дворе.

– Я с тобой еще поговорю, – сказал Агагусейн, впустив врача в комнату, и грозно посмотрел на Шамсию. – Сучка, я из тебя всю душу вытрясу.

Многого ждала Шамсия от Агагусейна, но пощечины в тот день не ожидала. Она не пикнула, только почувствовала сильную боль в голове. На Агагусейна она даже не взглянула. Она была спокойна, хотя сама поражалась этому спокойствию, но при этом руки ее дрожали. Врач заметил дрожащие руки Шамсии, а уходя, посмотрел на Агагусейна, покачал головой и ушел, громко хлопнув дверью.

А Агагусейн после ухода врача с руганью набросился на Шамсию. По его словам, вина Шамсии была огромна. Мол, среди ночи, беспокоясь за какого-то ублюдка, она бегала по улицам… Он долго бил ее ногами, отвешивал пощечины.

Терпение Шамсии лопнуло. Наутро она написала заявление в милицию, предъявив места от его ударов.

В милиции Шамсия, плача, рассказывала, что дольше этого выдержать не может. Ей надоели его постоянные избиения, брань. Он превратил ее жизнь в сплошной кошмар. Пусть они придут и объяснят ему что к чему. Пусть выселят из этого дома либо саму Шамсию, либо Агагусейна.

В тот день вместе с Шамсией пришли еще два милиционера. Они сначала огляделили дом. Потом посмотрели на детей, спавших валетом на диване. В доме был порядок, дети выглядели ухоженными.

Увидев вошедших милиционеров, Агагусейн с побледневшим лицом испуганно вскочил на ноги.

– Послушай, тебе не стыдно поднимать руку на женщину? – сказал один из них.

Шамсия, вытирая слезы, сказала, откуда, мол, он знает, что такое женщина, что ее надо уважать. Если б он уважал меня, наших детей, то не вел бы себя так.

– Если ты не ценишь свой дом, детей, жену, это ладно. Но хоть себя пожалей, – сказал второй милиционер.

В тот день они увели Агагусейна с собой. Домой он вернулся притихшим. Казалось, что он побаивается Шамсию.

***

Вот такой получился отпуск у Шамсии. Казалось, эти двадцать четыре дня были выделены ей не для лечения, а для того, чтобы она получила возможность оглянуться на предыдущие годы. Что она делала? Какую жизнь прожила? Когда у нее были ее счастливые дни, когда – черные? И вообще для чего она живет? Для того ли, чтобы плясать под дудочку своего брата Фарруха, терпеть оскорбления Агагусейна. Чтобы, глотая комки своей ненависти, каждый день ставить перед Агагусейном еду, стирать его белье, носовые платки.

А сколько мечтаний было у Шамсии! Она хотела стать певицей. Но Агагусейн подавил в ней эту мечту. А сейчас уже поздно. Умерло и желание петь, да и голос уже не такой звонкий. Он так и не созрел. Она и сама это чувствовала. Временами на работе, когда рядом никого не было, она что-то напевала, тихо, чтобы голос не разносился по всем комнатам. Но чувствовала – нет, голос уже не звучит так, как в те времена, когда она пела для отца. Никакого желания не осталось. Все ее желания умерли. И работу свою ненавидела. Она чувствовала себя там чужой, одинокой. Да и надоело целыми днями сидеть перед овальным окошком.

Кроме мира, где жили Фаррух, Агагусейн, тот человек, у Шамсии был еще один мир – мир ее отца. С этим миром было связано все самое хорошее для Шамсии. И так продолжалось четырнадцать лет. В те годы Шамсия много нежилась, капризничала. Она очень любила отца и называла его «деде» – батюшка. А откуда такая любовь, она и не знала. Может, оттого, что Гариб-киши постоянно был дома, вот она и привыкла к нему. Мама – Хаджар-арвад – работала в каком-то учреждении уборщицей. Она была всегда усталой, постоянно стонала – то у нее болели руки, то ноги.

А Гариб-киши был инвалидом. Он потерял на войне обе ноги. Вместо ног у него были четыре колеса на подшипниках, он, прикладывая все силы, крутил руками эти колеса, объезжая двор, подрезая ветки, лозу виноградников, сажал цветы, а временами играл с Шамсией, строил для нее дом из песка. Их дом был большим, с кухней, длинной верандой, большими окнами, через которые в комнаты падало много света.

Шамсия всегда с нетерпением ждала лета. Летом они с отцом каждый день ухо-

дили на море купаться. Точнее, Гариб-киши не купался, так как ног у него не было. Он просто подъезжал к самому берегу на своей коляске. Там он наклонялся, набирал в ладони воду, обливался ею, чтобы дать телу прохладу, и Шамсие казалось, что лицо отца прекрасней лиц всех, кто вокруг. И в деревне все говорили: как жалко Гариб-киши, хоть бедняга и инвалид, но лицо у него сияет благородством, а Шамсия так похожа на отца. «Прямо одно лицо с Гариб-киши».

На берег Шамсия брала с собой деревянную доску. На ней она могла заплывать далеко, это у нее было вместо спасательного круга, которые привозили с собой городские дети. Отчего-то эта доска больше нравилась тем, и они, оставив свои разноцветные спасательные круги, с любопытством смотрели, как Шамсия плавает на этой доске. А Шамсия отплывала в море, болтала ногами, брызгая во все стороны водой, при этом она поглядывала на городских ребят и временами улыбалась. Вот только выходить из воды ей совсем не хотелось.

И оставались они с отцом на пляже, сколько им заблагорассудится. Никто их не торопил, и сами они никуда не спешили. Солнце постепенно уводило свой караван за край неба, и море становилось красного цвета, который так нравился Шамсие.

Вдали виднелась их деревня, и они были уверены, что смогут попасть туда когда захотят, и Гариб-киши спокойно, поскрипывая колесами своей каталки, подбирал валявшиеся на берегу деревянные обломки, разводил из них большой костер, и отец с дочкой могли часами сидеть у этого костра и греться. Отец, сидя у огня, проводив взглядом зашедшее солнце, глядя снизу вверх, рассказывал о том, что с ним было на войне, о своих друзьях. Отчего-то в памяти Шамсии сохранилось чуть печальное, чуть холодное лицо отца и слегка хриплый голос. Ей казалось, что, о чем бы интересном, смешном ни говорил отец, голос его будет таким же печальным и хрипловатым. И это она связывала с тем, что у отца нет ног.

– Шамси, дочка, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

– Учительницей.

– Ишь ты какая. А вчера говорила, что хочешь стать врачом.

– Ну и что, батюшка, я буду и врачом, и учительницей. А захочешь, батюшка, я ради тебя стану артисткой. Вот, послушай:

В окошко камушек летит,
Взгляни в мою сторону, взгляни.
Из томных глаз видна слеза,
Взгляни в мою сторону, взгляни.

А потом она переходила к другой, уже грустной песне.

Любя, я обошел все дома,
С любовью я срывал цветы,
Глядя на дороги, искал там тебя.

И тут Шамсия брала верхние ноты. Эти верхние ноты и сила голоса дочки приводили Гариб-киши в восторг.

– Браво! Какой у тебя прекрасный голос, дочка.

– А как ты думал, батюшка? Дай мне твое ухо, – Шамсия подносила губы к уху отца. – Я обманула тебя. Я не хочу быть ни учительницей, ни врачом. Я стану арти-

сткой, буду петь.

– Дай-то Бог, дай-то Бог… – задумчиво говорил Гариб-киши.

В годы войны он в окопах тоже пел: «Гачаг Наби», «Полью я улицы водой». Но чаще всего «Катюшу». Он знал эту песню наизусть и часто пел ее своим хриплым голосом. И тогда его лицо странно менялось. И Шамсия понимала, что отец вспоминает погибших на войне друзей.

Лишь одно могло заставить Гариб-киши позабыть о своем горе, это его маленькая шаловливая дочка, и он часто думал о том, как хорошо, что на свете есть Шамсия. Она ему была взамен ног, которые он отдал войне.

Потом приходило время возвращаться домой. Гариб-киши брался за две круглые деревяшки и, отталкиваясь ими, катил. Когда они доходили до пригорка, Шамсия знала, что надо делать. Она заходила за спину отцу и толкала его, как машину, вперед.

Она до сих пор помнила лицо отца. Помнит, и до конца жизни будет помнить это смуглое лицо. Она обещала отцу стать то врачом, то учительницей, то певицей, но ни одной из этих профессий не освоила. После смерти отца она осталась с тихой матерью и старшим братом Фаррухом. Хоть Гариб-киши был инвалидом и никакой работы делать не мог, его авторитет в доме был велик. И Фаррух, и жена Фарруха – Ханым – его побаивались. А после смерти отца Фаррух взял все в свои руки и, как трудолюбивый человек, стал налаживать домашнее хозяйство. Теперь он был хозяином в доме. Поначалу Шамсия не могла привыкнуть к тому, что теперь здесь главный – Фаррух.

После кончины отца желание петь у Шамсии уменьшилось. Она целыми днями возилась в доме. Она выполняла все, что ей говорили Фаррух и его жена, смотрела за их детьми, стирала за ними пеленки. И чем старше становилась она, тем работы прибывало. Она работала с мотыгой, разрыхляла землю под саженцами. Фаррух приучил Шамсию к работе, к красивой одежде, они собирали ей приданое: «Я куплю тебе пальто, Шамси, дай только продам лук, который собрали в этом году. Пусть поспеют свекла и морковь» и т.д.

***

Она была одна. Лежала. Вспоминая вчерашний сон, поражаясь его странности, думала. Что это был за сон? И снится он не в первый раз. Шамсия запуталась в странных чувствах, охватывающих ее. В такие мгновения она забывала о доме, Агагусейне.

Она не расставалась с зеркалом. Разглядывая себя, она время от времени улыбалась. Так, улыбаясь, она прошла в ванную, встала под душ. Привела в порядок волосы. Потом еще раз тщательно рассмотрела себя в зеркале, комнату и улыбнулась. Она была рада. Рада тому, что наступило утро. Тому, что снова увидит Мурада. Тому, что Мурад опять не будет отрывать от нее взглядов, а когда придет время танцев, он застенчиво пригласит ее танцевать, но она, как бы ей ни хотелось танцевать с ним, откажется. Незаметно для всех она спустится на берег. Подойдет к Сократ-киши, так похожему на ее отца, и потому она так прикипела к нему всем сердцем с первого дня. Он будет там, на берегу. На своем обычном месте – на высокой, словно выдолбленной руками человека скале, и он будет разговаривать с Шамсией, что-то попутно записывая в блокнот. Иногда Шамсия рассказывала ему о детях: о Намиш, Гарибе, Имише, и при воспоминании о детях на глазах ее, как обычно, появятся слезы, а Сократ-киши, заметив их, повернет голову к ней и грустно улыбнется. Он, и

смеясь, будет похож на ее отца, и тогда Шамсие покажется, что отец еще жив и сейчас спросит у нее: «Шамси, доченька, а кем ты станешь, когда вырастешь?»

…Она опаздывала на завтрак. Поэтому стала быстро обуваться. И снова вспомнила о Мураде, который весь завтрак не будет сводить с нее глаз, и сердце ее сладко защемило. Вчера Мурад пригласил ее в кино:

– Вы не скучаете одна в палате? – спросил он. – Я, как увидел вас, тут же почувствовал, что скучаете.

При этом он печально смотрел на нее, теребя пальцы. Словно хотел сказать ей что-то, но стеснялся, и Шамсия тут же вспомнила человека, приходящего к ней во снах.

Шамсия ему ничего не ответила, а только с улыбкой посмотрела на Мурада, а по сердцу ее разлилась теплая волна. Но в кино с ним в тот день она не пошла, а вернулась после обеда в палату.

***

Она успела в столовую вовремя. В первые дни она путала, где ее стол. Подавальщица-армянка подкатила к ней с коляской.

– Матах,[1] – спросила она, – что ты будешь кушать?

Она взяла борщ и картофельное пюре с котлетой. На своем привычном месте появился массовик, который объявил сегодняшнюю программу. Он поднес микрофон ко рту и объявил, что желающие могут после еды записаться на экскурсию. Что танцы начнутся в семь вечера, а кино в девять. Сегодня вечером будет демонстрироваться фильм «Встреча в горах».

Шамсия переживала счастливые дни. Ее приглашали на танцы, в кино, предлагали разную вкусную еду.

Тут она увидела Мурада, который все так же грустно смотрел на нее. Не в силах вынести этого взгляда, Шамсия отвернулась.

Выходя из столовой, она почувствовала, что кто-то идет за ней. Она обернулась. В устремленном на нее взгляде была мольба. «А если это любовь? Может, это…» Отчего-то Мурад то смотрел на нее, то отводил взгляд.

– Вечером ты придешь на танцы? – спросил он и снова улыбнулся.

– Нет, – ответила Шамсия, поправляя платье с короткими рукавами. – Я в жизни не танцевала.

– Ну и что, – возразил он, – потанцуешь, научишься. Приходи, я научу тебя.

– Нет, нет, – повторила Шамсия и невольно зло посмотрела на Мурада. – Не ваше это дело учить меня. Захочу – потанцую, а не захочу – нет.

Мурад тихо исчез. А ей захотелось спуститься к берегу. Но она тут же передумала. Вернулась в палату. Там она снова легла и подумала о детях. «Что они делают? Интересно, Агагусейн приходит домой по вечерам?»

Мысли о Гарибе и Имише приходили ей в голову постоянно. Разница между ними была два года. Позавчера она из кабинета врача позвонила Салиме и попросила позвать детей. Поговорила с ними. Дома детям частенько доставалось от нее, а особенно Намише. А потом она огорчалась, сердце ее начинало болеть за них…

Шамсия проучилась только до седьмого класса. Потом Фаррух сказал:

– Достаточно, аттестат ты получила – это главное. Я даже шести классов не одолел. А нормально живу, зарабатываю. И в доме достаток, сама видишь.

[1] Матах (арм.) – расхожее ласковое обращение

В школе она была записана в кружок самодеятельности. И ребята, и учителя относились к ней очень хорошо. Не за то, что она хорошо училась (училась-то она на тройки-четверки), а за ее прекрасный голос (на конкурсах, благодаря голосу Шамсии, они всегда брали первые места) и еще за то, что Гариб-киши дарил ребятам выращенные им цветы. Его цветами была занята большая часть их двора. А продавать цветы отец не разрешал.

– Цветы нельзя продавать, – говорил он, – их надо дарить.

И Шамсия вместе с отцом поливала цветы, ухаживала за ними, и каждый день охапками носила в школу.

Может, благодаря этим цветам, которые сажал отец, Шамсия каждую ночь видела их и во сне. Может, и она ждала от кого-то цветов. И словно зная, что она ждет таких подарков, тот человек каждую ночь подносил их ей.

Когда школьные учителя проводили в восьмом классе перекличку и дошли до фамилии Шамсии, ребята в один голос закричали, что брат не пускает ее в школу. Что она сажает лук во дворе брата. И никто ей помочь не может.

Фаррух на своем приусадебном участке постоянно сажал лук, капусту, которые продавал на городском рынке. На каком из рынков у него хорошо покупали, там он и торговал. Там же на рынке он познакомился с Агагусейном. Со временем они крепко подружились. Они очень походили друг на друга. Фаррух торговал у самых ворот рынка, впритык к машине Алигулу, и тогда Агагусейн под видом помощи Фарруху тоже становился рядом с луком. Потом как-то он вместе с Фаррухом пришел к ним. Им надо было отвезти на рынок лук. Тогда же он случайно увидел Шамсию, девушка поразила его алыми губками, белоснежной кожей. С тех пор, везде, где бы он ни был, он видел одну лишь Шамсию. Кушал ли он, пил ли чай, Шамсия стояла перед глазами. «Чертовка, она сводит меня с ума». И он стал все чаще бывать у Фарруха, пока Фаррух не понял, почему это его друг зачастил в их дом. Ему нравился проворный Агагусейн, но при этом он слышал, что тот часто ездит в Маштаги, поиграть в карты, и это заставило его задуматься. Но, тем не менее, он не хотел упускать Агагусейна, так как тот в день зарабатывал столько денег, сколько Фаррух мог выручить за месяц. К тому же Агагусейн был человеком, который всегда был готов прийти на помощь. Собственно, он частенько и помогал Фарруху.

Поэтому Фаррух как-то отвел Агагусейна в уголок и крепко поговорил с ним:

– Девушка будет твоей, – сказал он, – я не против, но ты должен бросить играть. Если дашь слово и не выполнишь, ты – не мужчина.

На что Агагусейн, хлопнув себя по правой щеке, ответил:

– Чтоб я сдох, Фаррух. Не быть мне мужчиной, если я еще раз сяду играть. Если от кого еще раз услышишь, покажи мне этого человека. – И в подтверждение этому он добавил еще пару крепких слов в адрес тех, кто скажет такое.

На следующее утро Агагусейн под видом трат на свадьбу сунул в карман Фарруху пятьсот рублей. И пообещал дать еще, как только заработает.

Шамсия так и не узнала, когда она дала согласие Агагусейну, когда состоялась ее свадьба. Она только поняла, что избавилась от Фарруха. Надеялась, что Агагусейн, как мужчина, сдержит свое слово, бросит торговать, начнет учиться. Поначалу она колебалась. Потому что никак не могла заставить себя полюбить Агагусейна. Она хотела поступить в вечернюю школу, а днем где-то работать. Но на вечернюю школу Фаррух не согласился. Да и мать день и ночь твердила ей:

– Соглашайся, доченька, соглашайся. Хоть твою свадьбу увижу. Где же ты най-

дешь жениха лучше, чем Агагусейн. Видный мужчина, воспитанный. Чего же еще тебе надо? А ты – сирота. А у Фарруха характер тяжелый. Он лишнего куска хлеба пожалеет. А Агагусейн хорошо зарабатывает, выйдешь за него, и у тебя будет свой дом. А я тебе и приданое подготовила. Чего тебе еще надо?

Шамсия слушала мать, но мысли ее были далеко. А потом она шепотом спросила у матери – позволит ли ей Агагусейн петь на сцене? Хаджар-арвад тихо хлопнула себя по лбу.

– Ты больше никому такого не говори. Не знаю, как Агагусейн, но Фаррух тебя на куски изрежет. А окажешься в доме Агагусейна, сама решишь, муж решит. Но в этом доме даже слова «артист» не упоминай.

Так Шамсия не только в собственном доме, но даже в доме Агагусейна о пении не говорила. Как-то, когда Шамсия заговорила с Агагусейном о своем желании петь, он громко расхохотался.

– Ты совсем с ума сошла. Ты что, помешанная, какая музыкальная школа, какая сцена, какое пение?

О совместной жизни Шамсии с Агагусейном ей запомнились всего три вещи. Первое, как летом Агагусейн пошел с ней гулять на бульвар. В тот день стояла хорошая погода. Может, поэтому Агагусейн был ласковым.

– Шамсия, – сказал он, – пойдем, я поведу тебя на бульвар.

– Да превратится в камень, поверивший в это, – с неохотой ответила Шамсия.

Но Агагусейн взял ее за руку и повернул к себе и произнес:

– Хочешь, верь, не хочешь, не верь. Я говорю, собирайся, пойдем, я тебя и на фуникулере покатаю.

Шамсия, потерев болящую руку, выскользнула из объятий Агагусейна и, радуясь, как ребенок, побежала к шкафу. Достала белое подвенечное платье, которое стоило семнадцать рублей (она запомнила цену, потому что сама покупала его на собственные деньги), набросила на плечи длинный, с бахромой на концах нежный шарф. В тот день, гуляя по бульвару, в парке, повсюду, где бы они ни появлялись, ощущала на себе взгляды прохожих, и эти взгляды словно шептали Шамсие: ты прекрасней всех девушек, всех женщин, Шамсия. И ей хотелось прыгать, танцевать от счастья. Даже в день свадьбы она не была так счастлива.

И еще один день запомнился Шамсие. Тогда она была беременна старшей дочерью. В тот день она пошла в баню, а вернувшись, увидела, что Агагусейн принес двести граммов полтавской колбасы и две бутылки лимонада. Но есть не стал, а дожидался ее. Это было довольно неожиданно для Агагусейна. Когда Шамсия увидела это, на глазах ее выступили слезы. А однажды Агагусейн повел Шамсию на свадьбу. И там Шамсия много танцевала. После этого она больше не была ни на одной свадьбе. Агагусейн сам устраивал Шамсие множество «спектаклей». Но она не могла выносить, как муж обманывал покупателей, как он, облокотившись своим огромным телом на прилавок, лениво заигрывает с покупательницами. От стыда за мужа она готова была провалиться сквозь землю. Ей было стыдно перед соседками, знакомыми. Как-то их соседка Товбе-арвад возвращалась с рынка с большой корзиной в руке. А Шамсия как раз побрызгала двор водой и подметала. Товбе-арвад, задыхаясь от тяжести, опустила корзину на землю. Коротко поздоровалась с Шамсией.

– Честное слово, Шамсия, – сказала она, – ты ни в чем не виновата. – Она наклонилась и достала из корзины пучок зелени. – Ты только не обижайся, ради Аллаха. У тебя нервы не в порядке, ты – больная женщина, тебя ругать не за что. Но ты по-

смотри на эту кинзу. Я купила ее у Агагусейна. Ведь у человека должна быть совесть. Он каждый день ругает тебя, родню, знакомых, устраивает скандалы, позорит нас. А вот это уже слишком. Я купила мясо. Хотела приготовить долму. А если в долму не положишь зелени, никакого вкуса, ни аромата. Так я ему говорю, Агагусейн, что это за пучок такой? Не стыдно тебе? Да его же можно продеть через мое кольцо. А он мне: «Хочешь, покупай, а не хочешь – проваливай».

Товбе-арвад выпалила все это единым духом, но Шамсия ни слова не ответила ей. А та ничего не поняла из равнодушного вида Шамсии и, обиженно поджав губы, ушла к себе. Что происходило с Шамсией? Словно Товбе-арвад говорила о каких-то совершенно незнакомых ей людях. Да и кто такой для нее Агагусейн? Кто? Кто?

…Она еще спала. Казалось, восьмилетняя усталость только теперь покидает ее. Очень она устала за эти годы. Устала от всего. Эти восемь лет она прожила ненавидя все вокруг, и думала, для чего, ради чего прожиты эти восемь лет? За это время она всего раз побывала на свадьбе и всего раз за эти годы она с мужем посидела и поела двести граммов полтавской колбасы. Вот и все…

Шамсия проснулась на звуки музыки. Из коридора слышались голоса женщин, живших в соседних комнатах. Они что-то пели хором. Это были голоса Веры, Людмилы, Александры. Ох, уж эта Александра – Шура. Она любила над всеми пошутить. Бывало, в шутку наклеивала усы. Если по радио передавали музыку, танцевала за мужчину. Шамсия открыла дверь и вышла в коридор. Первой ее увидела Шура.

– Шамсия, на танцы пойдем?

– Нет, не хочу, – зевая, ответила Шамсия.

– Зачем?

– Я не умею танцевать.

– Эх ты! Молодая женщина, а танцевать не умеешь.

Это сказала Вера, наматывая на бигуди растрепанные волосы.

Шамсия снова сказала, что она никогда не танцевала, а теперь уже поздно, стесняется. Она хотела еще что-то добавить, но тут вспомнила о Мураде, который тоже приглашал ее сегодня на танцы. Она представила себя танцующей в его объятиях, и по телу ее прошел трепет. Ее разобрал смех.

Она вернулась в комнату, переоделась. Вышла из корпуса. И снова первое, что она увидела, было море. Оно казалось ей ласковым, родным. Как отцовский дом женщине, живущей в мужнем доме. Она не могла понять, отчего это. Может, это было связано с воспоминаниями о детстве.

На танцплощадке уже было много народа. Все ждали, когда начнутся танцы. Она заметила Рахилю. Та была полной, светловолосой женщиной. Ей было уже много лет, но больше тридцати пяти – тридцати шести ей дать было нельзя. Она жила в номере на третьем этаже, каждый день надевала новые платья и вообще очень следила за собой. Вот и сегодня на ней было новое платье, сшитое по последней моде, такой же модной была и ее прическа. Отчего-то при виде Рахили Шамсия вспоминала Валиду-ханым. Из разговоров Рахили выходило, что каждый отпуск она ездит на курорты. Шамсия иногда встречала ее с седым полным мужчиной. «Конечно же, это ее муж», – думала она.

Здесь же была и Ламия, живущая в соседнем с ней номере. Ее короткие выцветшие волосы были покрыты хной. Она с кем-то нежно разговаривала. Ламия работала на фабрике мастером, к тому же была депутатом. Как-то они случайно сели рядом. Принимали бромистую воду. Когда Шамсия пожаловалась ей на работу, та

сказала – иди к нам. На фабрике работать интересней, нет времени для скуки.

Увидев издали Шамсию, Рахиля ей приветливо улыбнулась. Шамсия улыбнулась ей в ответ и хотела уже в благодарность за улыбку подойти и обнять ее.

Собираясь в санаторий, она захватила с собой платье, сшитое из дешевой ткани, и красный шерстяной жакет. Жакет был новым и очень подходил Шамсие. Его ей продала дальняя знакомая Адиля, потому что он оказался ей мал. «Понемногу рассчитаешься, – сказала та, – чтобы незаметно было». Вот Шамсия и по пять рублей отдавала той, но половина еще осталась. Впрочем, Адиля и не торопила ее. Вот что значит настоящий человек. Шамсия, набросив на плечи этот жакет, устало прохаживалась между деревьями. Не хотелось подходить к танцплощадке. Не хотелось встречаться там с Мурадом. Взгляд ее снова упал на море. Легкий ветерок ласково коснулся ее волос, шеи. Она подошла к скалам. Море было прозрачным, чистым, и ей подумалось, что в мире нет ничего чище этой воды. В голове ее звучала музыка, услышанная днем по время обеда. Так всегда. И дома было так же, стоило ей вспомнить какую-то мелодию, как она весь день звучала в ее голове. Слова мелодии наводили грусть. И Шамсия загрустила.

Она была далеко от шума, музыки и чувства одиночества. Морской воздух словно бы слой за слоем снимал с ее души восьмилетнюю усталость. И казалось, это была не та Шамсия, о которой соседки говорили, что она «сплошной комок нервов». Здесь она была во власти воспоминаний о «морских» днях. Она вспоминала, как ездила с отцом на его коляске к морю. Ей казалось, что Гариб-киши сейчас придет к ней на своих ногах, без всякой коляски. Что они снова соберут щепки для костра, разожгут огонь, и, слушая треск горящих веток, Шамсия станет жаловаться отцу на жизнь с Агагусейном и горько плакать. И грустные глаза Гариб-киши станут еще грустней, и, чтобы Шамсия утешилась, он будет гладить ее по волосам и говорить:

– Ты же собиралась петь, Шамси? Где же твое пение? Куда оно пропало?

– Не повезло мне, отец. Я скучаю дома, скучаю на работе. Пойду работать на макаронную фабрику. Говорят, человек не остается там без дела. И платят лучше.

Она зашла за скалы. Спряталась там, чтобы побыть в тишине, в одиночестве, которого отчего-то боятся люди, так, чтобы никто ее не увидел. Все равно вода была холодной, и никто сейчас не вспомнит о море. Села, обняв руками колени. С привычного места взглянула на море, любуясь его чистотой. Смотрела, чтобы прогнать роившиеся в голове мысли, чтобы забыть обо всех заботах, о проблемах рыночных расходов, составлявших по восемьдесят рублей в месяц. Забыть ночи, пахнущие потной, пропахшей табаком одеждой Агагусейна, его волосатую грудь. Забыть. Забыть!

Солнце то появлялось, то снова исчезало. Сейчас оно стояло в самой точке, где море сходилось с небом. Последние отблески вечерней зари падали в воду, словно чья-то рука отрезала угол от моря. И эта его часть покрылась кровью, окрасив собой и воду. Шамсие нравилось смотреть, как солнце исчезает в море, а потом оттуда же рождается. Казалось, каждое утро восходит новое солнце, а не то, что было вчера. Это солнце было похоже на то, которым она любовалась, сидя на пляже с отцом. «Где ты, отец?» Глядя на море, Шамсия думала об отце, потом мысли ее перенеслись к больной матери.

Отец заболел зимой. Это Шамсия помнила. В ту зиму двор был густо засыпан снегом. Отец, с трудом приподнявшись, смотрел на снег. Потом позвал дочь.

– Сходи, принеси мне снега, – попросил он.

– Зачем тебе снег, батюшка? – спросила Шамсия, не веря своим ушам.

– Просто хочу прикоснуться к нему.

Шамсия взяла с полки блюдце и вышла во двор. Там она нашла чистое место, набрала в блюдце снега и вернулась. Гариб-киши провел пожелтевшими пальцами по снегу, потом потер снег в ладони, поднес его к губам. Но скончался он не зимой, а летом. До следующей зимы он не дожил. Тогда-то Шамсия поняла, зачем отец просил зимой принести ему снега. Он предчувствовал, что больше не увидит его.

На глазах Шамсии снова выступили слезы, но тут неподалеку послышался знакомый голос.

– Что такое, кажется, вы плачете?

Шамсия оглянулась. Сократ-муаллим в спортивной форме сидел на скалах на привычном месте. Шамсия удивилась тому, что не заметила его появления. Она быстро поднесла руки к лицу, стерла слезы и постаралась улыбнуться.

– Честное слово, – сказала она, – а я вас совсем не увидела.

Сократ-муаллим спрятал свою записную книжку в карман спортивной формы.

– Сегодня, кажется, вас кто-то обидел?

– Нет, – ответила Шамсия, – кто может обидеть меня? – она не знала, как объяснить свои слезы. – Просто мне грустно, – сказала она. – Вспомнила отца, детей.

– Вы смогли дозвониться до дома?

– Смогла, – улыбнулась Шамсия. – Поговорила с детьми.

Чтобы Шамсия снова не расстроилась, Сократ-муаллим перевел разговор. Отбросив назад свои седые волосы, он встал.

– Все будет в порядке, – сказал он. – А лечиться надо обязательно. Это необходимо для вашей нервной системы. – Он кивнул в сторону моря и спросил: – Ну что, больше сердце не болит?

Шамсия отрицательно покачала головой и вспомнила день, когда познакомилась с Сократ-муаллимом. Тогда состояние ее было плохим, очень болело сердце. Сократ-муаллим, как обычно, стоял у скал. С отеческой лаской он подошел к Шамсие и тут же заметил перемены в ее лице.

– Хорошо, что вы вышли к берегу, – сказал он и стал рассказывать ей о пользе свежего морского воздуха. – Летом обязательно приезжайте к морю. Надо ложиться на песок и принимать солнечные ванны.

– Я хоть и живу у моря, но в последние годы ни разу не была на берегу, – пожаловалась Шамсия. – Агагусейн не любит моря.

Сократ-муаллим сказал, что в первый раз слышит о человеке, который не любит моря, и удивленно спросил:

– Кто такой этот Агагусейн?

– Это мой муж. Он говорит, что женщинам незачем ходить на море.

– Зря он так говорит.

С этого дня Шамсия старалась чаще видеть этого человека. Ей нравилось заботливое выражение его лица, грустный взгляд, напоминающий взгляд ее отца. Останься отец живым, он бы сейчас тоже был в возрасте Сократ-муаллима. Он всегда смотрел на Шамсию снизу вверх. А Сократ-муаллим был высоким, статным человеком. К тому же Сократ-муаллим одевался, как образованный человек. А отец всегда ходил в тельняшке, оставшейся ему после войны, все приговаривая, что в ней ему тепло. Поверх тельняшки он носил китель с металлическими пуговицами.

Шамсия часто встречала Сократ-муаллима на берегу. А позже выяснилось, что Сократ-муаллим ученый. Хоть и вышел на пенсию, но пишет книгу. Что живет один

в своем дачном домике. Когда он при знакомстве назвал свое имя, она задумалась. Он сказал что-то смешное, и Шамсия расхохоталась.

Шамсия назвала и свое имя, сказала, что работает гардеробщицей.

– Прекрасно, – отозвался Сократ-муаллим, почувствовав, что Шамсия смутилась, сказав, где она работает.

– Но я уйду оттуда.

– Почему? – поинтересовался Сократ-муаллим.

– В санатории по соседству со мной живет женщина. Ламия. Мы познакомились с ней. Она работает на макаронной фабрике. И там ее выбрали депутатом. Так она говорит, что, если я захочу, может устроить меня на работу на эту фабрику. И платят там лучше, рублей по сто двадцать – сто тридцать.

Потом речь зашла об Агагусейне. Она рассказывала, как ее покойный отец не любил дармовых денег. И ее брату Фарруху он всегда говорил, что нечестно заработанные деньги портят человека. Честно жить, честно зарабатывать – в этом есть своя прелесть. Тогда можно не прятать глаза от людей. А вот Агагусейн… Не стыдно торговать на рынке, пусть себе торгует. Но зачем же при этом обманывать людей, плутовать. А у него ни стыда, ни совести. Даже соседей обманывает. Знала бы Шамсия, каков Агагусейн, ни за что бы не вышла за него. Но что делать, она тогда была молодой, совсем девочкой, Агагусейн смог обмануть ее нежными речами. Вот, устроилась на работу, а теперь ей не нравится. Шамсия чувствовала, что говорит громко, дрожа от негодования. Только тогда Сократ-муаллим понял, почему дрожат руки Шамсии, – от нервов. Потом увидел, как она побледнела, поднесла руки к груди, и лицо ее сжалось от боли.

– Что с вами? – озабоченно спросил Сократ-муаллим.

– Опять сердце прихватило, – обессиленно ответила Шамсия. Она еле дышала, руки ее были холодны, как лед.

– Ты пьешь какие-то лекарства?

– В рукаве жакета, в платочке, – с трудом проговорила она.

После выпитого лекарства Шамсия немного пришла в себя, цвет лица восстановился. В тот день она не стала долго сидеть на берегу. Боялась, что боль снова возвратится, поэтому вернулась в свою комнату.

…С моря дул легкий ветерок.

– Вы еще долго сидели вчера? – спросила Шамсия.

– Да, посидел.

– А я быстро уснула, – задумчиво проговорила Шамсия. – Ночью мне такое снится, такое снится.

– Наверное, ты перед сном много думаешь.

– Не знаю. Но вот вы – снитесь мне. Каждую ночь снитесь. Честное слово, клянусь Имишем.

Сократ-муаллим от души рассмеялся и шутливо воскликнул:

– Вай! Вай! А я-то думал, что ты во сне гуляешь по райским кущам. А если тебе снюсь я, старик, то что же это за сон?

– Не говорите так, Сократ-муаллим. Какой же вы старик? – Шамсия немного помолчала. – Ах, Сократ-муаллим, до чего же вы похожи на моего батюшку. На покойного отца. Я его всегда называла «батюшкой». А как увидела вас, так сразу подумала – до чего же могут быть похожи люди. И внешне, и душой. Отец тоже так смотрел на людей.

Сократ-муаллим снова улыбнулся на слова Шамсии и переменил разговор:

– Ветер поднимется, – молвил он и пошел в сторону берега.

Шамсия продолжала сидеть, обняв колени, и смотрела на море.

– А наши сейчас собираются на танцы, – тихо сказала она.

– А вы почему не идете? – спросил он, оторвав глаза от моря.

– Я? – засмеялась Шамсия. – Да разве мне прилично было бы танцевать? К тому же я никогда не танцевала, держась за руку с мужчиной.

– И напрасно.

Тут Шамсия хотела сказать, что Мурад каждый день приглашает ее танцевать. Но постеснялась, к тому же перед глазами встал ее отец.

– Очень напрасно, – задумчиво повторил Сократ-муаллим, – вы еще молоды, вам надо шутить, смеяться, танцевать.

Лицо Шамсии стало серьезным. Она начала рассказывать, что, когда была девушкой, столько танцевала на свадьбах, но… После того как вышла за Агагусейна, она всего раз была на свадьбе. Всего раз. И все из-за плохого характера Агагусейна… Лучше бы она вообще не встречалась с ним. Лучше бы в тот год сгнил весь лук Фарруха. А теперь она боится, что и дети пойдут характером в Агагусейна.

И вдруг Шамсия замолчала. Зачем она рассказывает чужому мужчине о своем доме? Ей стало стыдно за то, что она наговорила ему, она снизу вверх бросила взгляд на Сократ-муаллима. Кто он, этот мужчина? Кто он ей? Почему она так к нему привязалась? Будь он ее отцом или братом, тогда бы ладно. Вот Фаррух был ее братом. Но разве он ее понял? Пару раз Шамсия (после особо сильных скандалов с Агагусейном), взяв детей, искала у него убежища. Но теснота в доме брата, хмурые взгляды Ханым вынуждали ее возвращаться обратно. Но и жить с Агагусейном, спать с человеком, которого ненавидишь, было невыносимо. Временами, когда ему везло в торговле, Агагусейн пытался обнять Шамсию, поцеловать ее. Но Шамсия отстранялась от мужа, отталкивала его. В такие минуты ей хотелось оказаться подальше.

Темнело. Шамсия сидела молча. Сократ-муаллим тоже молчал. Он смотрел на эту больную женщину с расстроенными нервами. Смотрел и вспоминал свою бывшую жену. Они не прожили и трех лет. И все потому, что он плохо знал свою жену. Не знал он, насколько она может быть пошлой, развязной, – все это он понял только после женитьбы и понял, что жестоко ошибся, женившись на ней. Но и развод дорого обошелся ему, потому что он очень любил свою единственную дочь и не смог бы пережить разлуки с ней. И тогда Сократ-муаллим вынужден был переехать на свою дачу. Но время все расставило по своим местам. Чтобы встречаться с дочерью, он раза два в неделю приезжал в город. Жена его через месяц после развода снова вышла замуж, чему Сократ-муаллим вовсе не удивился. Он понял, что бывшая жена с новым мужем давно были любовниками. И предчувствовал, что так получится, потому что ни жена не любила Сократ-муаллима, ни Сократ – жену.

Сейчас Сократ-муаллим думал о том, что заставлять мужа и жену, ненавидящих друг друга, жить под одной крышей тяжелей любых издевательств…

А море уже бушевало вовсю. Шамсия чувствовала себя нехорошо. У нее болела голова, она мерзла. Но возвращаться к себе в комнату ей совсем не хотелось. Ей было бы слишком тоскливо остаться сейчас одной. «Сейчас в корпусе никого не будет. Все в кино или на танцах. Впрочем, нет, еще рано, наверное, только готовятся». Она вспомнила, что Сократ-муаллим тоже живет один. Ей хотелось спросить его, не тоскливо ли ему одному? Но она побоялась обидеть его. Но Сократ-муаллим

сам заговорил об одиночестве.

– Все дело в привычке, – сказал он.

Шамсия подумала, что если бы не пишущая машинка Зохрабли, он бы вряд ли вынес это одиночество.

– А почему вы до сих пор не женились? – не выдержав, спросила она.

Задумчиво улыбнувшись, Сократ-муаллим ответил:

– После развода с женой я чуть было раз не женился, одиночество стало слишком невыносимо. Вот я и решил жениться. Но что-то не получилось. Да и какая женитьба без любви. Любовь – это совсем другое, совсем. Так что я влюбился в свою работу. Мне было тогда лет пятьдесят… Вот в этом возрасте ко мне и пришла любовь.

– И что же случилось?

– Ничего! Все прошло.

– А кем была та женщина?

– Это была не взрослая женщина, а молоденькая девушка лет двадцати.

Об этой девушке Сократ-муаллим до сих пор никому не рассказывал, но сейчас ему хотелось говорить о своей любви.

– Поздно уже было, – сказал он. – Поздно для меня. А она была молоденькой девушкой, практиканткой. Они приехали снимать эти места, людей, море.

Шамсия с грустью слушала рассказ Сократ-муаллима о его поздней любви.

– А она не догадывалась, что вы влюблены в нее?

– Нет, не знала.

На лице Сократ-муаллима появилась печальная улыбка, но потом лицо его вдруг стало серьезным, и он замолчал. Наверное, боль от той любви до сих пор была жива в его сердце. Так что и Шамсия сидела молча. Они сидели и смотрели на море, поверхность которого была мутной. Ветер играл с волнами.

И снова молчание нарушил Сократ-муаллим.

– Но вы-то еще молоды. Вам всего ничего. Надо ценить жизнь, молодость. Взять хотя бы меня. Я всю жизнь ждал чего-то, на что-то надеялся. А время не ждет. В один прекрасный момент вдруг обнаруживаешь, что волосы твои уже поседели, а ты все еще ждешь. А чего? Ты и сам не знаешь.

Сократ-муаллим коснулся раны Шамсии. На глазах ее выступили слезы.

Прощаясь, Шамсия пообещала, что завтра снова придет сюда.

– Идите, а то вам будет холодно, – ответил Сократ-муаллим.

– А вы еще долго будете сидеть здесь? – спросила, уходя, Шамсия.

– Еще немного посижу. Мне нравится работать на свежем воздухе.

По дороге к санаторию Шамсия взглянула на стоящий у дороги, обнесенный каменным забором, с черепичной крышей дом. Это был дом Сократ-муаллима. Казалось, дом выглядывает из-за этой крыши и ждет своего хозяина. Отчего-то Шамсию взяла грусть. Она про себя прошептала: «Честное слово, одиночество – это очень плохо, очень плохо». Тут она вспомнила, что даже не спросила у Сократ-муаллима, придет ли он завтра на берег или нет. Она вернулась и издали позвала Сократ-муаллима. Спросила, придет ли он завтра? Тот кивнул ей и хрипло закашлял. Отчего-то в этот миг Шамсия вспомнила о матери. Та тоже так же хрипло кашляла, говорила таким же хриплым голосом.

– Завтра я поеду на рыбалку. Приходите. Если захочется рыбки, угощу.

Шамсия засмеялась:

– Откуда мне такое счастье?

– Не надо пессимизма, – еще громче сказал он. – Будь оптимисткой, дочка.

Всю обратную дорогу Шамсия пыталась понять, что же такое «пессимизм»? Едва она вошла в ворота санатория, как сразу увидела Мурада. На этот раз он был в другом костюме. Стоял, всем своим видом выражая ожидание. Она в первые секунды даже не узнала его. А потом сердце ее обдало какой-то волной.

– Добрый вечер, Шамсия, – сказал Мурад, совсем близко подходя к ней. – Откуда это ты? – Шамсия удивленно посмотрела на него, но ничего не ответила. Просто хотела пройти мимо. Но Мурад осторожно взял ее за руку и прошептал: – Пожалела бы меня.

Шамсия на мгновение остановилась, обернулась и посмотрела на него. «Он мой ровесник, может, чуть старше».

– У меня есть муж, дети, Мурад, – с трудом выдавила она, – позвольте мне пройти. К тому же я… больна.

Последние слова Шамсии Мурад воспринял так, словно она сдается. Почувствовал, что победа близка.

– Но любовь не смотрит на то, есть ли муж, дети, – нежным голосом ответил он. – Вечером, в девять, я буду ждать тебя у входа в клуб. Приходи обязательно.

– Здесь отдыхает столько девушек, – с улыбкой ответила Шамсия, – неужели ни одна вам не понравилась? – она замолчала, и отчего-то на глаза навернулись слезы. Мурад задумался.

– Как же мне любить девушек, которые мне не нравятся? Мама знакомила меня со многими девушками. Но ни одна из них не тронула мне сердца.

Шамсия слушала его и думала, что в ее сердце таится что-то к этому парню. Да. Да. Если б ничего не было, то он бы не снился ей.

– Так придешь?

– Не знаю, – с сомнением ответила она и пошла дальше.

Она шла, думая об Агагусейне. Когда она ехала в санаторий, Агагусейн посадил ее в автобус, при этом он был очень хмур. Даже не взглянул ей в лицо. Когда автобус собирался тронуться, он сказал: «Имей в виду, ты едешь туда не для удовольствий. Я отпускаю тебя в это проклятое место только потому, что ты больна. А то бы ты сидела себе дома». Шамсия с ненавистью отвернулась.

***

…Лицо ее горело. Голова кружилась. Она готовилась к свиданию с Мурадом. Агагусейн ни разу не приглашал ее на свидание. Зато он часто приходил к ним домой с Фаррухом. Из-за двери бросал на нее жадные взгляды. Пил чай и уходил вместе с Фаррухом. Все это казалось Шамсие странным, и она про себя решила, что никогда не станет женой Агагусейна.

Сердце ее сжало странное болезненное чувство. Это было чувство стыда и смешанное с ним странное предощущение радости, хотя она знала, что замужней женщине поздно чувствовать такое. Но в душе она оправдывала себя и никак не могла понять – если она пойдет на свидание с Мурадом, сможет ли она после этого смотреть в глаза мужу.

В девять часов она должна быть около клуба. Это был клуб санатория, и каждый вечер, кроме воскресных дней, здесь показывали старые фильмы.

Стоит ли ей идти туда? Она знает, что Мурад нравится ей. Он каждую ночь снится ей, он, ее отец, дети – Намиш, Гариб, Имиш. А как к этому отнесутся другие?

Может быть, это ее первая любовь за двадцать шесть лет. Может быть, и для Мурада – это первая любовь. Как он сказал? «Мама знакомила меня со столькими девушками». А не обманывает ли он? Почему это он до сих пор не женат? Но разве любовь смотрит на то, есть ли у тебя семья, дети? О, Господи, чем все это закончится?

Было уже без двадцати девять. Шамсия присела перед шкафом с одеждой, посмотрела на себя в зеркало. Лицо ее по-прежнему горело. Зато губы побледнели. Вдруг она встала и постучала в комнату Веры. Там собирались в кино. Все трое прихорашивались перед зеркалом.

– Ого, красавица, как дела? – воскликнула Вера, увидев Шамсию, протягивая ей помаду. – Возьми, покрась губы.

Шамсия нерешительно посмотрела на Веру, а та сама подошла к Шамсие и провела помадой по ее губам.

– Пойдем с нами на танцы.

– Ой! – воскликнула Шура. – Какая ты красивая стала, – и хитро подмигнула Вере. – Всегда крась губы, следи за собой, ты же красивая женщина.

Шамсия покраснела. Не знала что ответить. Улыбаясь, взяла утюг и вышла. Сомнения не покидали ее. В жизни ей еще не приходилось красить губы помадой. И сейчас это плохо подействовало на нее, так словно это были не ее губы. Казалось, что на губы повесили камни. Тыльной стороной ладони она стерла помаду и снова долго сидела перед зеркалом. Идти ли ей на это свидание с Мурадом? Она пыталась найти себе оправдание. «Времени осталось совсем немного. Я пойду на это свидание. Откроюсь перед ним. Все ему расскажу. Скажу, ты снишься мне каждую ночь, ты тот человек, который каждую ночь дарит мне цветы. Я знаю тебя давно, очень давно. Скажу, что я уеду, оставив сердце здесь. Ты – моя первая любовь, Мурад. Что значит любить, я узнала только здесь, в этом сказочном месте. Я скажу еще, будь счастлив, Мурад! Но больше не ищи меня. Я – мать троих детей, но душа моя разбита».

Шамсия то бормотала эти слова, то молчала, облизывая губы, словно испытывала жажду, то ей хотелось горько разрыдаться. Она ощущала себя между льдом и пламенем. Так идти ей? Но что-то в душе ее сопротивлялось этому, что-то мучило ее.

Наконец, она встала. Заперев свою дверь, вышла из корпуса. Спустилась вниз. Ей казалось, что все вокруг слышат, как бьется ее сердце.

Было уже начало десятого, когда она подошла к клубу. Мурад ждал ее в условленном месте. Он был одет в тот же костюм. Но в галстуке.

Агагусейн никогда не носил галстуков. Кроме того дня, когда они пошли на свадьбу. Да и то, он одолжил его у знакомых. А в середине свадьбы просто снял.

Мурад увидел Шамсию издали.

– Я знал, что вы придете. Молодец. Тут ты мне понравилась, – сказал он, сверкнув двумя золотыми зубами.

«Ты мне понравилась». Что это значит? Хоть эти слова удивили ее, она через силу улыбнулась.

– Не знаю. Вот пришла. Пришла, чтобы сказать, что…

Голос ее звучал через силу, но тут она почувствовала, как сильная рука Мурада взяла ее под руку. Она хотела отдернуть руку. Но Мурад сам освободил ее руку.

– Пойдем отсюда, – сказал он, – здесь много народа.

Шамсия повернула к берегу.

…Она стояла, прислонившись спиной к скале. На мгновение ей показалось, что

Сократ-муаллим сидит на своем привычном месте и смотрит на нее. Смотрит, как смотрел бы ее отец. Потом она отвернулась. Сократ-муаллим придет только завтра. И если ему удастся поймать рыбу, то угостит ею Шамсию.

Мурад оглядел безлюдный берег.

– Не знаю, зачем мы пришли сюда, – сказал он и с удовольствием потянулся… – Правда, здесь мягко… – Он указал на песок. Потом хотел сказать что-то еще, но задумался.

Шамсия в растерянности посмотрела на песчаный берег.

Темнеющее небо было чистым, прозрачным, и Шамсия понимала, что в такую ночь луна будет еще ярче, звезды скоро появятся то тут, то там. И тогда ей откроется вся красота этой ночи. Все происходящее казалось Шамсие каким-то сном. Сейчас она не думала ни об Агагусейне, ни о детях. Она чувствовала только огромное счастье. Словно в объятиях ночи висели качели, и она качалась на них, а голова ее кружилась от счастья. Шамсия отвернулась от моря, чуть выпрямилась и с бьющимся сердцем посмотрела на Мурада. И вдруг ей показалось, что этот парень, стоящий сейчас перед ней, совсем не тот человек, с которым она встречалась каждый день.

Нет, это был не Мурад. Каждый день, когда он видел Шамсию, на его лице появлялось странное, чуть мучительное выражение страдания, а теперь от всего этого не осталось и следа. И он совсем не был похож на человека из ее снов. Глаза его странно блестели. Этот блеск напомнил ей Агагусейна. Она вспомнила, как он, приходя к Фарруху пить чай, наблюдал из-за двери за ее походкой, статью, движением бедер. Сейчас Мурад походил на Агагусейна. Она еще раз взглянула на Мурада. Он был не в себе, его глаза не отрывались от ее груди, открытых рук, вдруг он коснулся ее руки, притянул ее к себе и прошептал:

– Шамсия, здесь неподалеку есть один дом. Может, пойдем туда… Я снял его. Останемся там, пока не придет тебе время возвращаться.

Шамсия вздрогнула от его прикосновения. Оно стало противно ей. А потом она не поверила тому, что услышала. «Какой дом? О чем он говорит?»

Она оттолкнула руку Мурада. Но тот не отставал. Стал хватать Шамсию за ворот. Шамсия отодвинулась:

– Не смей!

– Что случилось?

– Мне такие вещи не нравятся.

Мурад усмехнулся. На лице его появилась насмешливая усмешка:

– Да что ты… Правда?

– Да… – Лицо Шамсии потемнело.

Но Мурад и не думал отпускать ее.

– Ну ладно, будь человеком. Так идешь или нет? Еще капризничает здесь. Я знаю, что ты хочешь.

Он снова потянул Шамсию к себе. Попробовал расстегнуть пуговицы жакета.

– Отпусти! – крикнула Шамсия. – Что ты делаешь? – она снова оттолкнула Мурада. Чувствовала, что начинает задыхаться. Казалось, сердцебиение усилилось.

Лицо Мурада совсем потемнело.

– Что, совсем не терпится? – проговорил он и усмехнулся. Потом сунул руку в карман. – Вот, дам тебе, сколько захочешь. Купишь себе одежду… Ну куда торопишься? Рассчитаемся, когда захочешь.

Увидев в руке Мурада несколько десяток, она решила, что все это ей снится.

Она почувствовала, что слабеет, поднесла руку к сердцу.

– Подлец! – крикнула она не своим голосом.

Ей показалось, что она не произнесла ни звука. Она постепенно отходила назад. «Где он – ее сказочный мир? Куда он пропал? Ведь только что он был совсем рядом. Кто отнял его у Шамсии? Кто? Кто?»

– Не прикасайся ко мне, негодяй! – крикнула она.

– Да не сходи с ума. – Это был голос Мурада. В нем не было и следа от прежней нежности, ласки. – Мы тоже хлеб не носом едим. Знай. Ты такая чистая? Видно, деньги старика слаще моих.

Мгновение Шамсия непонимающе смотрела на Мурада.

– Ну, что смотришь? Куда это ты исчезаешь по вечерам? Ты думаешь, мы тут слепые? Думаешь, люди ничего не видят?

Дальше Шамсия уже не слышала его. Боль пронзала ее голову, сердце. В глазах потемнело.

– Заткнись, – запинаясь, прошептала она. – А то я сейчас врежу тебе камнем по голове!

Откуда ей вспомнились эти слова, ведь вокруг камней-то и не было, один песок. Эти слова часто говорил ее отец.

Держась за сердце, Шамсия отошла от Мурада, на подгибающихся ногах пошла к санаторию, спряталась в своей комнате. Боль становилась все сильней. В первый раз Шамсия поняла весь ужас боли. Она металась на кровати, но боль не прекращалась. Она поднялась, села, потом опять легла. До самых пяток она замерзала, потом ее бросило в пот. А боль становилась все сильнее. Она крепко сжимала губы, чтобы не закричать. Но молча. Боль не проходила и Шамсия невольно простонала. Этот стон услышала Ламия из соседней комнаты. Она вбежала к ней в ночной рубашке. Потом бросилась за врачом.

После третьего укола Шамсия уснула. И самое странное, что даже в эту ночь Шамсие снились сны. Ей снилось, что сейчас ночь, а она стоит на краю скалы. Рядом на скале сидит Сократ-муаллим. Он забросил удочку в море, и они оба ждут, когда же смогут поймать рыбу. Она на скале с нетерпением ждет рыбу и с бьющимся сердцем смотрит на Сократ-муаллима. Ей все кажется, что если сегодня, именно сегодня они ничего не поймают, то в этом будет виновата именно она, ее невезучесть. Шамсия смотрит на Сократ-муаллима, а он – в сторону удочки. Вдруг в воде что-то появилось – это была голова большой рыбы. Сократ-муаллим поспешно потянул удочку на себя. И тут рыба раскрыла рот и громко расхохоталась, а потом нырнула под воду. Шамсия заплакала. А Сократ-муаллим огорченно смотрел на море. Удочка валялась где-то в стороне. Он сидел и курил. Потом, выбросив папиросу, подошел к Шамсие и погладил ее по голове.

– Не плачь, Шамсия, – сказал он. – Человек не должен замыкаться в пессимизме.

Шамсия перестала плакать и спросила, что такое «пессимизм»? Сократ-муаллим объяснил ей значение этого слова. Тут они увидели, что рыба крупнее прежней вынырнула из воды и поплыла в их сторону, легла у их ног и уснула. Тут же из воды появилась голова Мурада. Он, утопая, вынырнул наружу. Посмотрел на Шамсию и Сократ-муаллима, потом схватился за хвост умершей рыбы и попробовал ее снова утащить под воду. Но Сократ-муаллим так посмотрел на Мурада, что рыба выскользнула из его рук и голова Мурада ушла под воду. Море поглотило его.

***

В тот день Шамсия не покидала своей комнаты. Так и пролежала весь день на спине. Она пришла в себя только на третий день, и первый, кого она вспомнила, очнувшись, был Агагусейн. Она шепотом позвала медсестру. Попросила вызвать мужа. Пусть он приедет и заберет ее.

***

На танцплощадке санатория массовик Игорь Петрович поднес микрофон к губам и пригласил отдыхающих на танцы. Шамсия долго простояла рядом с танцующими. Потом осторожно спустилась вниз. Сегодня она уезжала домой. Последним автобусом. Она уедет, даже если Агагусейн не приедет за ней. А сейчас она хотела попасть на берег. Откуда в ней проснулось это желание? Что тянуло ее к берегу?

Когда она шла по узкому длинному тротуару, послышался смех, заставивший ее вздрогнуть. Она повернула к скамейке.

Первым в глаза ей бросилось красное платье Рахили. Она сидела, закинув руки за голову. И с наслаждением смеялась. Рядом с ней был незнакомый Шамсие мужчина. Его рука лежала на колене Рахили. А сам он рассказывал что-то смешное. Увидев Шамсию, Рахиля прервала смех, выпрямилась и немного отодвинулась от мужчины и со всегдашней усмешкой посмотрела на Шамсию.

То ли из-за этого глупого смеха, то ли от того, что сейчас рядом с Рахилей совсем другой мужчина, то ли от того, что эту веселую, улыбчивую женщину она видела меняющей платья по два-три раза в день, – неизвестно отчего, она разонравилась Шамсие. Стала ей противна. Шамсия торопливо прошла мимо них. И вышла на берег.

Сейчас море казалось ей иным. Оно словно утратило свою ласковость. Все казалось Шамсие подозрительным, многозначительным. Она посмотрела в небо, плотные густые облака словно надвигались на нее. Огляделась вокруг. И ей стало страшно от безлюдья. На миг она застыла в онемении. Не понимала, зачем она пришла сюда, что она здесь забыла. Вдруг она вспомнила того человека, который во снах дарил ей цветы, и поняла, что навсегда потеряла его, и больше он ей никогда не приснится. В эти несколько дней в душе ее возникла пустота.

Шамсия устало поднялась. Взгляд ее коснулся места, где обычно сидел Сократ-муаллим, и она вспомнила этого человека. Вместе с ним она вспомнила и отца. И трое детей встали перед ее глазами.

И снова берег изменился в ее глазах. Он был по-прежнему прохладным, родным.

ИСМАИЛ КЯЗИМОВ

ВЕЛИКИЕ ВОЗВЫШАЮТСЯ В ОКЕАНЕ

(о первом лексикографе Азербайджана Юсифе Аббас оглу Мирбабаеве)

История развития философской мысли в Азербайджане характеризуется научной деятельностью одаренных людей. Одним из таких талантливых представителей нашего народаявляется Юсиф Аббас оглу Мирбабаев. Он родился в 1889 году в городе Иреван (нынешний Ереван). Его имя первоначально обозначалось как Мир-Юсиф, но под давлением требований советской действительности первую часть его имени, отображающую корни священных потомков Мохаммеда, убрали. Ю.Мирбабаев учился в Иреване в русско-азербайджанской школе, с 1904 года продолжил образование в гимназии. В 1912-1916 годах был студентом юридического факультета Московского Университета, окончив который вернулся в Иреван и долгое время работал в системе образования, в частности, исполнял обязанности заведующего учебной частью Иреванского педагогического техникума.

Великий литературовед Фирудин-бек Кёчарли в начале минувшего века писал, что в прошлом город Иреван был центром деятельности ученых, уважаемых известных людей, поэтов. Юсиф Мирбабаев тоже вырос, сформировался и совершенствовался в этом центре науки и культуры. Мирбабаев являлся одним из видных представителей того поколения интеллигенции. В тяжелые времена он был не только работником образования, но и выступал как глашатай трагедии своего народа, защитник родных земель, открыто говорил об армянской тирании. Об этом свидетельствуют архивные материалы.

Его научная деятельность началась в 1933 году, когда семья переехала в Баку. Сначала он работал в Азербайджанском отделении Закавказского филиала Академии Наук, затем был заведующим лексико-терминологического сектора отдела истории, языка и литературы АзФАН. С 1938 по 1944 год Ю.А.Мирбабаев работал в Азербайджанском отделении Закавказского филиала Академии Наук СССР сначала научным секретарем, а затем – заместителем директора.

В эти годы Ю.Мирбабаев выступал в Москве с лекциями о различных проблемах азербайджанского языка – в Институте языка и мышления, в Институте востоковедения, в отделении востоковедения филологического факультета МГУ.

В 1946 году он был назначен директором Института языкознания имени Насими Академии наук Азербайджана. В эти годы научная деятельность ученого в основном была

посвящена составлению и редактированию словарей.

В области лексикографии Ю.А.Мирбабаев – известный специалист. Большую часть своей жизни он посвятил науке. С 1933 года и до конца жизни он занимался в Академии Наук составлением словарей, является одним из основных составителей 4-томного Русско-Азербайджанского словаря (Баку, 1944-1946), 3-томного русско-фарсидско-азербайджанского словаря (Баку, 1945), Краткого фарсидского-русско-азербайджанского словаря (Баку, 1945) и других.

Ю. А.Мирбабаев сыграл заметную роль в подготовке первого проекта «Толкового словаря Азербайджанского языка» (1945-1950 гг.). Именно он подготовил и издал в Азербайджане первый «Азербайджанско-Русский фразеологический словарь».

В 1946-1949 годах Ю. Мирбабаев возглавляет самостоятельный Институт Языка АН Азербайджана.

За заслуги в подготовке 4-томного Русско-Азербайджанского словаря в 1946 году Ю. Мирбабаев был удостоен Государственной премии СССР. Значимость этого издания в обогащении словарного состава азербайджанского языка неоценима.

Еще в 1943 году академик И. И. Мещанинов писал об этих словарях: «…Ожидается издание четвертого, последнего тома, среди русско-национальных словарей это самый большой русско-азербайджанский словарь. В завершении словаря большая заслуга будет принадлежать всему Азербайджанскому филиалу Академии и отделу лексикографии. Этот словарь будет иметь большое значение не только для Азербайджана, но и в более широком масштабе».

В 1948 году создатели словаря академик Гейдар Гусейнов, директор Института Языкознания Академии наук Азербайджана Юсиф Мирбабаев и заведующий отделом лексикографии и терминологии этого института Алигейдар Оруджев были удостоены Сталинской премии. В то время это стало важным событием в общественной жизни республики.

До последних дней своих Юсиф Мирбабаев трудился над созданием словаря заимствованных нашим языком иностранных слов и толкового словаря. Незавершенные им труды продолжили его воспитанники, докторанты.

Одним из требований того времени было знание фарсидского языка. И очень большую помощь в этом оказал составленный в 1944 году Ю. Мирбабаевым совместно с рядом других авторов Русско-Фарсидско-Азербайджанский словарь. Он был издан столбцами. В первом столбце слово было представлено на русском языке, во втором – его толковый перевод на фарсидском, в третьем – толковый перевод на азербайджанском. Словарь содержал около 9000 слов. В советский период это было первое подобное издание.

Профессор Адиль Бабаев в своей работе «История азербайджанского языкознания» (1996) обращается лишь к одному труду Ю.Мирбабаева («Краткий фарсидско-русско-азербайджанский словарь»). Может быть, в истории нашей лингвистики этому труду следует придать еще большую значимость.

Издание 4-томного «Русско-Азербайджанского словаря» стало очень важным этапом в истории развития двуязычной лексикологии не только в Азербайджане, но и во всем Советском Союзе. Словарь включает около 100 тысяч слов. В 1941 году Ю. Мирбабаев выступил в Москве с докладом о принципах и правилах составления этого словаря. Словарь вызвал большой интерес в лексикографии того времени. В своем отзыве об этом словаре действительный член Академии Наук СССР И.И.Мещанинов писал: «По своему объему этот словарь превосходит все российские национальные словари, особенно он отличается своей емкостью. Словарь создан благодаря большому тяжелому труду. Эта большая объемная работа проделана в очень сжатые сроки, но это не повредило ее качеству».

Высоко оценил этот словарь и известный тюрколог Н. Дмитриев.

В истории СССР словарь впервые был удостоен высокой награды.

«Азербайджан занимает первое место в этом деле. Хронологическое превосходство в развернутой и основательной постановке словарного дела принадлежит Азербайджану. Издание четырехтомника – новая и высокая ступень в истории нашей двуязычной лексикологии». Это тоже мнение И. Мещанинова.

Ю. Мирбабаев, занимающий особое положение в азербайджанском языкознании как составитель словарей, был также автором ряда научных статей. Одна из первых – статья, написанная в соавторстве с Б.Т.Ябленко. Она посвящена сравнительному анализу некоторых проблем азербайджанского и русского языков (Ябленко Б.Т. , Мирбабаев Ю. «Сравнительный обзор некоторых особенностей азербайджанского и русского языков, Методические указания и справочник для учителей», Азернешр, 1938).

Одна из статей, подтверждающих отсутствие генетического родства азербайджанского и армянского языков, называется «О взаимосвязи азербайджанского и армянского языков». В ней автор говорит о наличии в армянских первоисточниках слов арабско-фарсидско-азербайджанского происхождения и пишет, что проживающие в Баку армяне употребляют не только азербайджанские слова (мяхля, гол, гонаглыг, дястя, баг, уста, папаг, тоз, бой, кёр, касыб, хяйат, сахман, адят, астар, хал, базар, бала, халял и др.), но и пословицы, поговорки. В речи ереванских армян таких слов и выражений стало гораздо меньше. Этому способствовало влияние армянского литературного языка на разговорную речь широких масс в связи с развитием школьной системы и локализацией сферы употребления диалектов.

Составленные Ю.Мирбабаевым армянско-азербайджанский и азербайджанско-армянский словари, научные статьи о взаимосвязи армянского и азербайджанского языков свидетельствуют о том, что он хорошо знал этот язык. Влияние азербайджанского языка на соседние языки, в том числе и армянский, он обосновывал ареалом распространения азербайджанского народа и его историей. Азербайджанцы жили на территории от Дербента до Тебриза и дальше.

Обсуждение и разработка принципов составления «Словаря иностранных слов» начались еще по инициативе академика Г.Гусейнова. Ю.Мирбабаев внес большой вклад в этот процесс. Часть «Словаря иностранных слов» еще в 1947 году была опубликована в «Трудах Института языкознания», возглавляемого Ю.Мирбабаевым.

Он занимался не только составлением словарей, но и давал предельно объективные отзывы на представляемые в Институт языкознания рукописи.

Лексикография – один из наиболее сложных разделов языкознания. И именно в этой сфере Ю.Мирбабаев проявил себя как талантливый ученый.

Ю.Мирбабаев, не только лексикограф, но и прекрасный терминолог, умер в 1951 году, ему было 62 года. В памяти близких, знакомых, всех окружающих Ю.Мирбабаев остался как подлинный интеллигент, мягкий, спокойный, аккуратный человек.

Вот как вспоминает о нем одна из работавших с ним в институте языкознания сотрудниц: «Ю.Мирбабаеву были присущи все прекрасные человеческие качества: простота, искренность, скромность. Он был неповторимым человеком».

Имя Ю.Мирбабаева и тот вклад, который он внес в отечественное языкознание, не

забыты. В 1999г. в Институте языкознания было отмечено 110-летие этого талантливого ученого. Решением Президиума Академии Наук республики от 28 апреля 1999 года была проведена посвященная ученому сессия. Со вступительным словом на сессии выступил директор института А. Ахундов, были заслушаны доклады И.Мамедова «Место Юсифа Мирбабаева в азербайджанской лексикографии», Б.Абдуллаева «Жизненный путь Юсифа Мирбабаева». В работе сессии участвовали сотрудники института, ученые-языковеды, поделились воспоминаниями о своем великом предшественнике.

Приведем некоторые из их высказываний о Юсифе Мирбабаеве.

Член-корреспондент Академии наук З. Будагова: «Самый видный представитель филологической мысли Азербайджана, один из основоположников научного языковедения, достойный представитель потомственной интеллигенции…».

Первая женщина-кандидат филологических наук на Востоке, профессор Рахиля Магеррамова: «Ю.Мирбабаева можно считать основателем Института Языка АН Азербайджана, потому что он был первым его директором. Решение всех проблем, все заботы (и научные, и организационные) этого небольшого института легли на его плечи. Он не жалел сил для развития перспектив азербайджанского языкознания. С уважением вспоминаю своего учителя. Он был благородным человеком, которого отличали высокие моральные качества».

Академик М.Ш.Ширалиев: «Ю.Мирбабаев периодически выступал на различные актуальные темы: «Процесс формирования истории азербайджанского языка», «Организация работы по изучению афетического и иранского языков в Азербайджане», «Отношения азербайджанско-иранского языков», «Албанская культура и язык», «О составлении Французско-Азербайджанского, Немецко-Азербайджанского, Англо-Азербайджанского словарей».

Академик Агамуса Ахундов: « Азербайджанский ученый лексикограф Юсиф Мирбабаев проделал большую работу, сегодня созданное им продолжают и развивают его воспитанники».

А.Габибзаде: «Он был очень скромным, спокойным, доброжелательным человеком. Коллеги, сотрудники его очень уважали. Никогда никого не обижал. Мы все обращались к нему «*ага*» (буквально «*господин*», почтительное обращение к мужчине – ***Ред.***). Ему были присущи все лучшие человеческие качества. Незаменимый человек он был».

К сожалению, содержащееся в решении сессии предложение об увековечении памяти известного ученого-языковеда, неутомимого исследователя, лауреата Государственной премии Юсифа Аббас оглу Мирбабаева, установлении памятной доски на доме, где он жил, и присвоении одной из улиц Баку его имени так и не было претворено в жизнь. Надо надеяться, что соответствующие организации позаботятся об увековечении памяти этого видного ученого.

Кроме того, имя видного ученого не попало в АСЭ. Интересно, сколько в республике было таких языковедов, удостоенных Сталинской премии?

Тогда же в газете «Меденийет» была опупликована статья под любопытным заголовком: «О нем не забыл Сталин, а мы?»

Слабым утешением является то, что в школьных учебниках азербайджанского языка приводится краткая информация о деятельности Юсифа Мирбабаева.

Кроме того, в 2000 году издательство «Елм» выпустило небольшую книжку(36 страниц) «Видный лексикограф Ю.Мирбабаев», в которой содержится краткая информация о жизни и творческой деятельности видного ученого.

ВАЛЕНТИНА ЭФЕНДИЕВА

БАЯТЫ

* * *

Стоит роскошный наш Кавказ!
Я повторю ещё не раз;
Кавказ, блесни лучами с гор –
Ты, наша гордость, наш алмаз!

* * *

Птиц не слышно осенью,
Не поют на сосенках.
Без тебя, мой соловей,
Голова вся в проседи!..

* * *

Я всё жду, когда любимый
Крепко накрепко обнимет.
И чего он время тянет,
Жизнь и так проходит мимо!

* * *

Пока горит свеча любви,
В саду блистают соловьи.
Но если вдруг она растает,
Не дозовешься их, увы!..

* * *

У кавказцев гордый нрав,
Каждый думает, что прав.
Побеждает только мудрый,
Побеждает, «проиграв»!..

* * *

Наводить в любви мосты
Для меня мог только ты.
Что же с нами приключилось?..
Знают только баяты!

* * *

Жизнь спешит куда-то вдаль,
Где и радость и печаль.
Вот минует середину,
Станет крепкой, словно сталь!..

РУБАИ

***

Зачем, художник, в страхе ты поник?
Не бойся мира, он ведь твой двойник,
И помни: в этой жизни все мгновенно –
Меж правдою и ложью только миг!

***

Наш мир велик и в то же время тесен –
Кому-то сладок, а кому-то пресен.
Душа пустеет, как казна растяпы...
Но, может, этим мир и интересен?..

***

Сад уснул, но в январскую впав синеву,
Чует: ветки деревьев колышут листву –
Точно так видит море в пустыне идущий,
Хотя море не встретить ему наяву.

***

Под утро, в дымке, словно за стеклом,
Морозный лес сверкает хрусталем.
Снега лежат – раскинутая скатерть,
Пока апрель не свяжет их узлом.

***

Зачем в печали жить, врагу оставьте грусть!
Превратности судьбы все знают наизусть.
От бед, увы, никто из нас не застрахован,
Хоть хлещет дождь невзгод,
мы скажем: «*Ну и пусть!..*»

***

Кто ближе всех тебе, усталая душа?
Кто правду говорит – ту, что острей ножа!
Лжецы мне не нужны с елейными устами,
На языках их яд, что каплет не спеша!..

***

О, чудная пора пришествия весны,
Когда сердца людей томления полны,
И майский ветерок, над морем пролетая,
Касается крылом разбуженной волны!

***

От меня, как от бреда, уходишь во мглу.
Я царапаю имя кольцом по стеклу.
Заклинаю: приди, хоть на самую малость,
Ведь мы оба, пойми, непричастные злу...

***

Что знает человек об участи своей?
Года его летят, как стая лебедей!
А солнце золотит дорогу длинной жизни,
Продрогшей от снегов,
промокшей от дождей.

Сага об эйлаге

Небо – это подобье эйлага,
Где пасутся златые стада,
И звучит бесконечная сага,
Наполняя собою года.

В ней минуты насыщены светом,
А зачем, почему? – Все равно!..
Замечаю в дали неприметной,
Как горит золотое руно.

Сердцем чувствую вечность и атом.
В каждой букве тиха и строга,
Я спокойна, как звездный анатом,
Что исследует душу стиха.

Очутившись в божественном храме,
Где любая былинка – навек,
Я стою у костра с пастухами,
Теплый пепел взвивается вверх.

Страна поэтов и богов

Моя страна, ты столько претерпела.
Морозный ветер превращался в жар,
И птица Рух печально песню пела,
И этой песне тихо вторил тар,

Чьи струны – бесконечная попытка
Узреть рассвет, презрев вороний гам.
Века текут, горячие, как пытка,
И ими наполняется мугам.

Он словно видит Башню[1] при закладке,
Зороастрийских пасмурных жрецов,
И римлян островерхие палатки,
И те века, где не сыскать концов.

Клыками ощетинилась пантера,
И слышен львиный, кровожадный рык.
Как мавзолей – Азыхская пещера,
А к небу задран древних гор кадык.

[1] Девичья башня.

Узнает просвещенная Европа
Про край, где солнцем залиты поля,
Ведь вещие глаза азыхантропа
Блестят в веках, легендой нас поя.

Кяпаза белоснежная папаха
В озерной отражается воде.
Я словно вижу профиль Ширваншаха,
Райятов, истомившихся в труде.

Душа замрет у каменного пира[1]
И многое нам строки изрекут...
Задолго до великого Шекспира
Был создан золотой «Деде-Горгуд».

Седые горы и пески сухие,
Азербайджан, ты гордость не таи:
Сквозь годы мчатся всадники лихие,
За шахом Исмаилом-Хатаи.

И не сумеет никакая Джуна
Осмыслить чародейство той земли,
Что породила автора Меджнуна,
Бессмертного поэта Физули!..

Так, повесть об отчизне не кончая,
И равнодушием обделена,
Вникаю я в законы Туркменчая:
Зачем моя земля поделена?..

Ветрам разбушеваться в этой шири –
Пристанище поэтов и богов,
Как при далеком предке Джаваншире,
Который саблей рассекал врагов.

Звучи во мне, столетий фонограмма.
Дух в океане жизни, как пловец.
И плачет под мелодию мугама
Завороженный песнею певец!..
Неизменяемое Слово

Жизнь человека – смех и плач.
Невыразимы оба слова.
Душа людская, словно пласт,
Рассечена в своей основе.

В ней обозначены листы
Не цифрами, а светлой сутью,
Где все смыкаются пласты,
Как в день последний, страшный, Судный.

[1] Место поклонения.

Крадется тихо ночь, как вор,
Но ей не отпереть засовы.
Мысль – исповедь души живой,
Неизменяемое Слово.

Мой дух пространство раздвигал,
Услышав голос занебесный.
И храбрый инк, и гордый галл
Подняли ввысь мой дух над бездной.

Мне на потомков не пенять
За то, что вырастут иными...
Но я сейчас хочу понять
Свое единственное имя!..

Воспалена времен гортань
И зову высшему послушна,
Я, как воинственный Спартак,
Собою заслоняю души!..

Черное перо

«...Крикнул ворон: «Nevermore!»

Эдгар По «Ворон»

Эдгаровский вещун, не каркай,
Пусть лет немало утекло,
Все также режет свет неяркий –
Небес холодное стекло.

А в полночь луковица лампы
Горит спиралью в два огня,
И заполняются эстампы,
Где нет тебя, где нет меня.

Другие профили в проеме
Застывших красок бытия.
Два силуэта на пароме
Плывущем в вечность: ты и я!

Ленора уж не возвратится,
Но кисть художника тонка.
И юный облик возродится
До глаз, до рук, до позвонка!..

И ворон черным опереньем
Покроет холст в преддверье утр.
Он, как художник, в миг творенья,
Раскроет жизнь –
и канет внутрь!..

Любовь роняет тени

…Я тот, чей взор надежду губит,
Я тот, кого никто не любит…»

М.Ю.Лермонтов «Демон»

Ты волен над судьбой,
Упругий, как аорта.
Грызёшься сам с собой.
Скажи: какого черта?..

Я – как тростник в воде,
А ты – дыханье ветра.
Летишь к моей беде,
Сплетая километры.

Зачем душа кровит
От напряженья взгляда?..
Меня ты не кори,
Коль не отыщешь клада,

Что так влечет мужчин…
Я не товар на рынке
И не магнит, учти,
Чтоб подбирала липких.

Ты о любви твердишь,
Но не роняешь тени,
И чёртиком глядишь
В тревоге и сомненье.

И только в тишине,
Когда весь мир в тумане,
Откроешься вдруг мне,
Как страстный Дух –
Тамаре!..

Р А С С К А З Ы

ГЮЛЬШАН ТОФИК ГЫЗЫ

Край неба за барханами

– Какими легкими и пушистыми кажутся облака! А ведь на самом деле они холодные и колючие. – Старик Тугай лежал на жестком матраце, уложенном поверх ветхого паласа, и смотрел на стайку мелких полупрозрачных облаков, медленно ползущих на запад. – Скоро норд-ост собьет их в кучу и погонит к предгорьям. А там обрушит градом на виноградники. И ничего не поделаешь! Бессилен человек перед стихией…

Ушастый тушканчик нахально прыгал вокруг невысокого каменного крылечка, окруженного раскаленным желтым песком. Он не обращал внимания на старика, лежащего под худым навесом, сквозь щели которого солнце чертило полоски на стене старенького дома. Мужчина и маленький грызун давно уже привыкли к присутствию друг друга. Сухие соленые пески с горькими на вкус редкими кустарниками, колючками и островками мохнатого белоцвета – милая сердцу тушканчика родина. Он не видит ярко-синей полосы моря за песчаными барханами. Там не его территория, и она ему неинтересна. За барханами воздух пахнет иначе. Он неприятен тушканчику. А вот старик то и дело вздыхает, с трудом поворачивая лицо в сторону песчаных холмов, укрывающих от его глаз синюю с прозеленью морскую гладь, к которой примыкает край небосвода.

– Много вас в этом году, однако, – подумал старый Тугай, глядя на тушканчика, бесцеремонно роющего новую норку прямо под каменным выступом крылечка. – Видно, змей нет по ваши души. Оно и хорошо. Можно не опасаясь спать во дворе.

Тут Тугай горько усмехнулся. Собственные рассуждения показались ему бессмысленными. С раннего утра с ним происходило что-то непонятное: не мог шевельнуть ни ногой, ни рукой. Хотел подняться, но тело не слушалось, будто придавленное невидимым тяжким грузом. Он попытался крикнуть и позвать на помощь соседей. Но и это ему не удалось. Лишь слабый звук – то ли стон, то ли вздох – сошел с его уст. Только мысли были четкими. Да что толку? Ничего не оставалось, как лежать, не усугубляя своего положения, и ждать, пока не вернется его старуха, которая еще вчера поехала в город. На денек. По внукам заскучала. Да и отшельничать здесь надоело. Она не разделяла любви мужа к «дикому» отдыху и солоноватой, жесткой колодезной воде, убивающей вкус даже самого хорошего чая. Поэтому то и дело искала предлог, чтоб отлучиться ненадолго. У сына была своя благоустроенная дача на противоположном берегу полуострова. Но старый Тугай упорно не откликался на его приглашение. На ухоженной, окруженной высоким каменным забором даче сына он чувствовал себя как в клетке.

– Моря не видно, людей не видно, даже ящериц нет! – качал головой Тугай, с

горечью осознавая, что прежнее понятие «дача» справедливо воспринимается молодыми как «бросовый участок, без удобств». – Зачем нужна такая дача, если ветер не приносит запах моря, а вместо инжира растут какие-то папоротники?

– За эти «папоротники» валютой заплачено! – недовольно возражает сын. – Очень модные сейчас декоративные кустарники.

– Вот именно, модные. А кто диктует вам эту моду?.. Все равно тебя не поймут, кончай пустой спор, – думал Тугай, тоскуя по своему «бросовому участку в неходовом месте». Что греха таить, место действительно «неходовое». Если не считать близости моря, никаких преимуществ: вода соленая до горечи, растительность скудная, пески и ветры через год-два губят хилые саженцы плодовых деревьев, которые приходится поливать привозной водой, без конца удобрять. Но и это не помогает. Они все равно очень скоро усыхают от зноя, соли и ветра. Даже стойкий к такому климату местный виноград – шаны обладает необычным вкусом, сочетающим высокую сахаристость и некую солоноватость. Вина из такого винограда не получается, а на дне бутылок с соком через месяц зацветают «песчаные хризантемы». Что и говорить, дети правы, приморская полупустыня с юркими змейками и скорпионами под камнями – не лучшее место для отдыха. В их понимании, по крайней мере. На близлежащих участках то и дело образовывались небольшие болотистые впадины, быстро зарастающие камышом. Через два-три года они испарялись, оставляя после себя бурые камышовые заросли. Затем появлялись в другом месте. И снова зарастали тростниками, шуршащими при малейшем ветерке, словно хвост гремучей змеи. Здесь такие болотца называли «блуждающими змеиными ямами». Но на горизонте уже вырастали новые постройки. Люди осушают камышовые трясины, изгоняют их обитателей, проводят коммуникации, строят особняки. Слишком дорога каждая пядь абшеронской землицы, чтобы отдавать ее на откуп ветрам. Так и утихают знаменитые абшеронские ветры… Годом раньше, годом позже и участок старого Тугая будет изъят под застройку. Разбегутся кто куда попрыгунчики-тушканчики, серенькие песчаные лиски и ящерки-притворщицы. Старику стало совсем грустно. Думая о том, что ждет эти знойные барханы и неказистые стойкие смоковницы, он забыл о своем далеко не завидном положении. Солнце, тем временем, переместилось в зенит, и жаркая полоска легла прямо ему на лицо. Но он будто не замечал струек пота, стекающих со лба и щек. Они были соленые, как слезы. А может быть, то слезы и есть?..

Через час ветер заметно усилился. Тугай открыл глаза и вновь принялся разглядывать облака. Их стало намного больше. Потревоженный ветром, скрылся в только что вырытой под крыльцом норке тушканчик. Распластавшись на стене, застыла ящерица. Скрипела распахнутая ветром дверь. Мелкий песок забивался в седые разлохмаченные волосы старика.

– По-прежнему, норд-ост, – думал он. – Значит, точно, понесет, упрямец, тучи с градом к предгорьям. Жаль, если побьет виноградники…

Тугай вспомнил, как шестьдесят лет назад (он служил тогда в армии) их полк перебросили на устранение последствий селя в Абхазии. Горное сельцо, откуда он с товарищами эвакуировал население, почти полностью унесло водой. Какая-то мелкая, безобидная речушка вдруг превратилась в ревущего, разъяренного зверя, неслась, уничтожая все на пути. Спасали только людей. У домашнего скота шансов не оставалось. Но и среди людей не обошлось без жертв. Четверо селян и один солдат-грузин погибли тогда. Грузинского парнишку унесло взбешенной мутной водой, оторвавшей слабые поручни моста, куда он успел поднять абхазского мальчика.

Говорили, что год до того в этом селе было полностью уничтожено градом кукурузное поле и виноградники. Градины падали с неба величиной с крупное куриное яйцо. Бедолаги абыхи едва пришли в себя и вдруг – этот ужасный сель.

– Интересно, вспоминает ли своего спасителя и цену спасения тот абхазский мальчик? – размышлял Тугай. – Сейчас его дети, возможно, среди тех, кто разжигает огонь вражды с грузинами. Мир обезумел!

Обрывки воспоминаний, нанизанные на обветшалую бечевку памяти, напоминали самодельные гирлянды, которые Тугай в довоенном детстве собирал для новогодней елки. Эта бечевка была очень стара, оборвана во многих местах и собрана узлами. Гирлянда получалась аляповатая и непоследовательная. Но, слушая шум усиливающегося ветра, доносившего неповторимый запах моря, переводя взгляд с тяжелеющих облаков на стелющиеся по песку виноградные кусты, он мысленно возвращался именно туда, в уносимую свирепствующей стихией абхазскую деревеньку. Лучше думать о тех, с кем успел попрощаться... Но память воскрешала и другие картины. Больше всего их было из детства.

– Ты как со мной разговариваешь, рожденный чревом гиены?! – гневно сверкая очами, выговаривал своему взрослому сыну сосед Гиясбеков со второго этажа. Он яростно ударил себя в грудь. – Я, потомственный бек, не удостоился почтения собственного сына?!

– Что же ты попортил кровь, женившись на дочери потомственного батрака? – усмехнулась бабушка Тугая, которой он помогал расплетать пряжу, сидя на деревянных ступеньках внутреннего дворика. Бабушка будто сама с собой говорила, а не с внуком. – Отец и дед его жены Алии были батраками у отца и деда этого суесловца. А теперь сам противится женитьбе сына на девушке из «простой» семьи.

Вопреки воле отца, сын Асланбека Гиясбекова все-таки женился на Елизавете, дочери рабочего с сураханского нефтяного промысла. И вот теперь муж его родившейся через год внучки Рухангиз, разглядывая в облаках мелькающие картинки далеких дней, с радостью возвращается туда, ощущая их теплое прикосновение к холодеющему сердцу.

Абшеронский ветер, как всегда, непредсказуем. Из легкого, словно дыхание младенца, он преобразился в злыдня, перемешивая облака вихреобразными порывами. Запах моря стал горьким и едким. Шум волн превратился в рев. Норд-ост не донес арсенал облаков, полных ледяными снарядами, до предгорных виноградников. Где-то там, в невообразимой выси, он смешался с другими потоками, закружив и сталкивая вздувшиеся облака. От этих столкновений рождались молнии, которые через несколько секунд раскалывали воздух громом. Распластанная на песке старая виноградная лоза еще сильнее прижалась к земле, вывернув листья будто ладони и прикрывая ими недозрелые гроздья кислых ягод. Мать-лоза не даст им раньше времени быть сорванными ветром и побитыми надвигающимся ливнем! Хлынул дождь. Недолгий и обильный летний дождь. Пару часов назад лицо старика Тугая, бездвижно лежащего на ветхом паласе, было залито соленым потом. Теперь его окроплял дождь, загоняемый ветром под навес. Странно… Ему показалось, что и дождинки соленые на вкус. Будто крошечные частички моря, бушующего за барханами.

– Молодец, старик Хазар! – краешком губ улыбнулся Тугай. – Ты знал, что я собирался сегодня окунуться в твои волны. Не удалось… Вот и пришел ко мне сам. Спасибо! Я буду омыт тобой, прежде чем предстану перед небесными вратами.

Тугай с трудом размежил веки и увидел кичливого старика Гиясбекова, сидя-

щего на краю веранды откинувшись к стене. Тугай не удивился и не испугался.

– Значит, я не ошибся, – подумал он. – Только бы Рухангиз не задержалась в городе…

– Не волнуйся, она уже возвращается, – услышал он голос почтенного Аслан-бека, хотя тот не произносил ничего вслух. – Она видела дурной сон и спешит к тебе. Хорошая у тебя жена. И ее мать, Лиза, была хорошей женой моему сыну. Зря я тогда корил его – ТАМ все одной породы!

Вертеп

По старому, виды видавшему черно-белому телевизору шла предрождественская передача. Диктор комментировал сценку рождения Иисуса, которую разыгрывали переодетые ангелочками благополучные американские ребятишки.

– Буля, – разглядывая черно-белое изображение через цветные стеклышки, спросила семилетняя Берта, – а что такое «вертеп»?

«Буля» – это сокращенное от «бабуля». Так Берта называла свою бабушку, Венеру Андреевну, на попечении которой осталась после смерти мамы.

– Вертеп – это место, где родился святой младенец, то ли хлев, то ли пещера, – стараясь приладить соскочившую ножку бертиного пупса, ответила бабуля. Она тяжко вздохнула и добавила: – А где же еще могут рождаться святые младенцы?...

Бабушке Берты нет еще и пятидесяти, но выглядит она глубокой старухой. Уж потрепала ее судьбина, будь она неладна, и в хвост, и в гриву. Когда-то 18-летней красавицей умыкнул ее покойный муж, отпрыск добропорядочного шамхорского семейства, из забытой Богом мингрельской деревушки. Заплутав, забрел он туда в достославные годы активной дружбы между народами. Мингрелы – народ суровый, своенравный, но гостеприимный. Студента-альпиниста из соседней республики накормили, напоили, дали харчей на обратный путь. А прехорошенькая девушка, ловкая, как горная козочка, младшая дочка пастуха Андро, вызвалась показать Мураду самую короткую дорогу назад. Спускаясь по крутой каменистой тропинке, Мурад оступился и чуть не упал в глубокую щель скалы. Но Венера, Нано, успела схватить его за ремень рюкзака и с такой силой рванула на себя, что они оба кубарем скатились к самому подножию холма, вцепившись друг в друга. Дальше так и шли, держась за руки и прислушиваясь с волнением и тревогой к странному стуку своих сердец. Через месяц, по договоренности, Нано и Мурад вновь встретились на горном серпантине. Там же, где он сел на попутную машину. Мурад подъехал туда на такси, а Нано стояла босая и ждала его с одной туфлей в левой руке и паспортом – в правой. Вторая туфля упала в щель скалы на том же самом месте, где недавно поскользнулся Мурад. Наверно, это был знак...

Шамхорская родня избранницу Мурада не приняла. Мингрельская же родня еще долго искала молодую парочку. Слава Богу, тщетно. Потому что, несмотря на законность их брака, у сородичей Нано были свои, очень жесткие правила на сей счет: инородцы, умыкнувшие девушку-мингрелку, обрекались на смерть неписаным дедовским законом горян.

Живя в столице, молодые часто меняли снимаемые квартиры, скрываясь от мстительной венериной родни. Дочка, Айша, родилась, когда Мураду и Нано было уже по 28 лет. К тому времени жили они хоть и в тесноватой, но зато в своей однокомнатной квартире. По тем временам, «не кисло». Мурад работал на заводе «Азон».

Венера устроилась нянечкой в детском саду, куда и дочурка ходила. Вроде бы наладилась жизнь. А самое главное, любили они друг друга. Ах, как любили! На зависть всем Меджнунам и Джульеттам. Но судьба не зря подложила на той горной тропинке камень, о который споткнулся Мурад и где обронила туфельку Венера. Когда Айше было пять лет, Мурад получил тяжелую травму на заводе и через год, так и не оправившись, умер. С тех пор Венера жила с дочкой на свой небольшой заработок и скудную пенсию покойного мужа. И очень скоро седина покрыла чудесные черные кудри Нано, словно снег – мингрельские вершины...

Айша рассталась с мужем, когда Берта еще не родилась. Отец так никогда дочку и не увидел. Да и не стремился. А девчушка росла славная. Само очарование! Но беда, облюбовавшая семейство Венеры, вцепилась в ее жизнь острыми когтями. И кровь продолжала выступать из-под этих когтей...

Берте было шесть лет, когда Айшу сбил подвыпивший «сынок». Через несколько дней она скончалась в больнице. По злой иронии судьбы в день похорон Айши состоялась свадьба того «сынка», родители которого смогли «отмазать» его в суде, пообещав Венере позаботиться о девочке.

– Я даю вам честное мужское слово! Мой сын виноват, знаю. Но разве вам станет легче, если его посадят? Скоро назначена его свадьба, не пытайтесь сломать ему жизнь. А так я обещаю, что девочка будет учиться в лучшей школе, будет обеспечена, будет жить в достатке.

... «Сынку» дали условный срок и назначили выплату алиментов на содержание Берты – 130 000 манатов. Но плохо разбиравшаяся в законах Венера Андреевна так и не получила обещанного – ни алиментов для Берты, ни платной школы, ни прочего «достатка». Одинокой, стареющей, нищей женщине добиться справедливости в судах? Не смешите, а то распл*а*чусь... По совету соседей попыталась Венера Андреевна как-то вновь обратиться в суд.

– Господин судья, я не знаю законов и не умею говорить, как адвокат. Но я скажу вам по-простому, – глядя в упор на лоснящегося судью, – говорила Венера. – Только вы не смейтесь надо мной... Вы знаете, наверно, те Заповеди, что Бог дал Моисею. «Не убей, не укради, не солги»... Да и дальше. Ведь все это записано и в книгах, что перед вами лежат. И ваш закон говорит, что убивать, красть, лжесвидетельствовать – это преступление. Выходит, решая человеческие судьбы, вы берете на себя функции Бога. Так и решайте же по-божески! В противном случае когда-нибудь обиженный и ожесточенный вашим решением ребенок может снова стоять перед вами, но уже в ином качестве – как преступник. Кто же будет тогда виноват?

Оживившееся поначалу лицо судьи вновь приняло скучающий и недовольный вид.

– Тогда и посмотрим, – безучастно ответил судья и объявил заседание закрытым.

С тех пор Венера Андреевна махнула рукой на судебные тяжбы, поняв, что на земной суд и суда нет.

* * *

Соседи на свои средства похоронили Венеру Андреевну. Долго не могли оторвать Берту от могилы бабушки. Тяжко было это видеть.

– Не убивайся так, дочка, – ласкала ее тетя Нубар. – Вставай, пойдем домой.

Завтра, если хочешь, придешь. Тебе надо отдохнуть, поесть, выспаться... Чем давать ей такую красоту, лучше бы ты, Господь, дал ей немного счастья, – прошептала Нубар, утирая слезы. – И Венера, и Айша тоже красавицы были. А что им от той красоты? Одни беды... Не ропщу я, Господи, но пожалей же ты ребенка, дай и ей радости в этой жизни, освяти ее путь своим благословением. Жалко девушку. Такая красивая, как бы по рукам не пошла. Так много грязи кругом...

Никто не стал оформлять опекунство и отдавать 17-летнюю девушку в детский дом. Соседи посоветовали ей взять двух студенток-квартиранток. На жизнь хватит. И школу бы не бросила. Жаль было бы, коли так. Ведь при всей их бедности, Берта хорошо училась, и покойная бабушка мечтала видеть ее студенткой.

Выйдя с кладбища, на девятый поминальный день, Берта долго бесцельно бродила по шумным улицам города, а затем направилась в сторону бульвара. Мир вокруг нее, несмотря на все звуки и краски, стал чужим и ненавистным. Как в тумане, переходя улицу, Берта чуть не угодила под колеса иномарки. Водитель, холеный мужчина лет тридцати, вылив на девушку ушат матерной брани, сорвался с места. Но, отъехав несколько метров, подал назад.

– Эй, ты что, не в себе? Садись, подвезу, – необычная красота Берты заинтересовала его. Сама не зная почему, девушка молча села на заднее сиденье. Водитель с интересом стал разглядывать ее в зеркало заднего обзора.

– Куда идешь? Подвезу, – уже спокойно спросил и подумал: «А ты кусочек!».

– Буля умерла... – тихо, невпопад ответила Берта.

– Земля пухом! А кто такая Буля?

– Бабушка, – не смогла сдержать рыданий Берта.

– Ладно, ладно, успокойся. Куда везти тебя? А хочешь, прокачу, развеешься.

– Не хочу жить...

– Глупо! Надо смириться. Богу виднее. Не нам решать, когда жить, когда умирать. Вот, чуть не сшиб я тебя, а теперь подружимся. Знаешь, я как будто видел тебя раньше. – Это не был «ход». Ему, действительно, показалось, что он ее где-то встречал. Он напрягал память, но не мог вспомнить. А девушка хороша! – Вспомнил! Не о тебе будет сказано, вот так же однажды полезла ко мне под колеса одна дрянь. Какая-то, прости, потаскушка. Меня чуть не посадили тогда, да еще ее ублюдочному ребенку алименты плати! Не обижайся, на ту девку ты похожа. – Оцепенение сковало тело Берты. Она напряглась. Их взгляды встретились в зеркале. – У тебя такие красивые глаза! Хм-м, вроде и не русская, вроде и не еврейка. На азербайджанку тоже не особенно похожа. Не могу понять, какой ты национальности.

– Человеческой...

– Ну вот, обиделась. Ты очень красивая. Хочу понять, какой благословенный народ рождает эти чудесные самоцветы.

«Тот же, что и таких уродов, как ты, – с ненавистью подумала Берта. – Буля всегда все знала о Боге, но так ничего и не узнала о людях. При жизни она тебя не разыскала, а ее смерть нас свела. Это неспроста...» Что-то стало с ней происходить. Что-то страшное. Она не понимала, что именно. Ей казалось, тело покрывается черным панцирем, на голове вырастают страшные гребни, руки превращаются в перепончатые крылья, а пальцы становятся жуткими когтями. Она уподобилась зловещему чудовищу с горящими глазами. Заигравший мелодию «Эдельвейс» сотовый телефон хозяина машины снял с нее оцепенение.

– Хорошо, солнышко мое, не забуду, – улыбаясь чьему-то голосу, отвечал во-

дитель. – Обязательно куплю. Это дочка, – пояснил он, – просит торт привезти в школу. У нее завтра день рождения.

«А у меня никогда не было торта в день рождения...» – ненавидя и его дочь, подумала Берта.

Неожиданно для водителя она сказала:

– А можно и мне сделать подарок вашей дочке?

– Почему бы и нет? Только недорогой, откуда у тебя деньги? Хотя, – он хитро прищурился, – могу их тебе предложить...

– Нет, недорогой. Но на всю жизнь, – заинтриговала его Берта. – Вы только подвезите меня до дома и чуть-чуть обождите. А потом мы с вами куда-нибудь поедем. Действительно, надо развеяться, – добавила она, чтоб не спугнуть и заинтересовать своего спутника.

Берта вышла из машины на другом конце улицы и дворами побежала к своему дому. Влетев в кухню, она стала лихорадочно рыться в шкафчике, выбирая нож поострее. «Так, значит, ты шлюху задавил?! Значит, дите у нее было ублюдочное?! – задыхаясь от ненависти, заводила себя Берта. Закипала и бурлила мингрельская кровь. Не спускать обидчику! – Вот и хорошо, что смертную казнь отменили. Для меня! Но не для тебя...»

Наспех расчесав растрепавшиеся роскошные кудри, Берта выбежала из дому и, пролетев через дворы, тем же путем вышла на улицу, где поджидал ее обреченный спутник. Она была как во сне. Чудовище рвалось наружу, распирая юное тело и разрывая нежную оболочку израненной души.

– Можно, я сяду рядом? – натужно улыбнулась девушка.

Водитель учтиво открыл переднюю дверцу. Глаза его сладострастно сверкали. Он уже представлял минуты блаженства, когда это юное очарование подарит ему свою «любовь». Ах да, подарок!

– Ну, где же твой подарок? – весело спросил он. – Да и имя твое пора узнать.

Ответ был молниеносный. Берта, не дав шанса увернуться, полоснула его ножом по сонной артерии. Водитель иномарки даже не успел понять, что произошло. В одно мгновение машина была залита кровью, хлеставшей из-под ладони, которую он прижал к горлу. Поздно!

– А зовут меня Берта, – злобно проскрипела зубами девушка, – и это – мой подарок твоему ублюдочному ребеночку!

* * *

Зачитывая приговор, судья не отрывал глаз от листа. Берта получила по полной катушке. Она сидела в зарешеченном закутке, выглядела очень спокойной и умиротворенной. Временами она бросала довольный взгляд на родственников убиенного. Это была уже не та ласковая, добрая красавица Берта. Ожесточенный зверек превратился в злобное чудовище.

– Вертеп, а не суд, – сочувственно промолвила тетя Нубар, глядя на клеть с подсудимой.

«Значит, вертеп – это не только то место, где святые младенцы рождаются, – вспомнила Берта слова Були. – Сегодня в вертепе умер святой младенец...»

ЛЯМАН БАГИРОВА

Любка

О тебе я хочу думать. Думаю о тебе.
О тебе не хочу думать. Думаю о тебе.
О других я хочу думать. Думаю о тебе.
Ни о ком не хочу думать. Думаю о тебе.

Л.Озеров

Сумасшествие? Нет. Любовь. Та самая, единственная и неповторимая, яркая и трепетная, о которой мечтают все женщины и на которую все меньше способны мужчины. Увы, «рыцарство печальных Сирано» все больше перемещается в женщин. Только, чур, говорю о просто женщинах, которым нужна старинная прелюдия к любви как к таинству, как к чуду, а не следование доктринам: «Скорей, скорей, скорей! Сама, сама, сама!» и «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, чего зря время терять?!» Нет, я о тех женщинах, о которых четко и точно сказала Цветаева: «Девчонке, самой легконогой, все ж дальше сердца не уйти». Как в воду глядела гениальная Марина. У мужчин все же много страстей: наука, идеи, политика, служба, работа, а в корне всех страстей – честолюбие. А Женщина, опять же повторяю, – Она, а не бесполое Оно, – вся живет любовью и для любви. В этом она вся, как послушная бабочка, чутко и нервно летит на ее свет, танцует в нем, покоряется, и зачастую сгорает в нем.

В самом деле, разве красота, богатство, талант или власть покоряют женщину? Ничего подобного! Ничто так не действует магически на женщину, ничто так не наполняет ее внутренним светом и ощущением собственной женской сути, как страстное напряженное желание мужчины обладать ею. Она может отфыркиваться от этого, ханжески потуплять глаза, притворно негодовать, но – все мы дочери Евы! – и уже наша кровь отравлена, мы жаждем мужского поклонения и вожделения. Не грубого обладания, разумеется, простите, не гоп-стопом, но постоянной, натянутой нити желания. «Любит тот, кто безумней лобзает», – воскликнул когда-то Надсон и был прав. О-о-о!!! Это наполняет нас силой, уверенностью в собственной неотразимости, постоянной желанности. Отними у женщины это ощущение, и ... разом потухнут глаза. Все останется на месте, но глаза потухнут. А без огня в глазах даже самое безукоризненное лицо и совершенное тело – всего лишь безжизненная статуя.

Особенно чутки женщины возраста ночной фиалки. Лекции о «бабьем лете» и буйстве гормонов оставим для физиологов. Нет, я о том прекрасном времени, когда все чувства опалены и звенящи. Когда перед сентябрем неизменно есть ослепительный август. Август ночной фиалки, или любки, как называют этот цветок в народе. Ни одному цветку не удается так пробуждать молодые силы и нежные чувства, как ее скромным белым свечечкам.

Я знала такую любку! Не было в моем окружении женщины щедрее и ярче нее!

Она была близкой подругой моей матери. Та называла ее «Эльза – 33 несчастья». Каждый ее визит для нас был счастьем и бедой. Меня она осыпала вкуснейшими в мире шоколадными конфетами с миндалем и грецким орехом, тающим во

рту мармеладом и замечательными игрушками. Особенно запомнилась кукла, которая открывала рот для пластмассовой каши, но отказывалась от пластмассового же молока! Эту фарфоровую, в розовом платье и сером фартуке, куклу Катарину у меня потом украли, и до-о-олго я поминала вора дурным словом! Маму она заваливала какими-то кофточками и баночками с дорогими консервами. Это было счастье. Вывалив все дары и насладившись нашими ахами, она скульптурно усаживалась на оттоманку и начинала рыдать. Рыдала она долго и с переливами, и это было бедой.

В личной жизни Эльзе не везло. Она всегда боялась одиночества, она всегда мечтала о счастье, и эти мечты не торопились воплотиться. С завидной последовательностью ее оставили два мужа. Рассказывая о них, она почему-то всегда прибавляла поговорку «первым не наешься, вторым подавишься». Меня это веселило до чрезвычайности. Я так и представляла себе вкуснейшего жирненького первого, чьи мосольчики обсасывались, видимо, с большим удовольствием, и анемичного жилистого второго, застревающего в горле. Почему о первом надо было вспоминать с таким трогательным придыханием, мне до сих пор непонятно. По приглушенным ахам и вздохам и утешениям мамы я догадывалась, что он бил ее смертным боем, и … «ты не представляешь, не представляешь, что он заставляет меня делать!» При этих словах мама отвешивала мне подзатыльник и выдворяла из комнаты, накрепко закрыв дверь. Мне было семь лет, я была ребенком с фантазией, но, слава Богу, мои предположения были безумно далеки от правды.

В конце концов Эльзе улыбнулась удача: муж, жаждущий изощренных утех, нашел себе достойную партнершу, не упрямицу, не скрытницу, не скромницу, и быстро сделал из семьи ноги. Единственный их с Эльзой ребенок – мальчик, родившийся на четвертый год брака, – умер от менингита в трехмесячном возрасте. Больше детей не было. Эльза поплакала, вздохнула, опять поплакала и … ожила.

Второй появился в ее жизни внезапно и… ошеломил. Вообще, этого второго мужа мама называла «темной лошадкой». Каким образом и зачем он заглянул в скромное КБ, где она работала, на четвертом этаже обшарпанного здания, покрыто мраком забвения. Но Эльза была сражена! Она летала и рыдала, рыдала и летала! Промежуточного состояния не было. Но именно с ним ее жилище стало настоящим домом. Эльза оказалась хлебосольной хозяйкой. Никогда не забыть мне вечера, на который приглашены были мы с мамой. Низенький стол, толстые витые свечи, бутылка вина, кекс в виде сердца и блестящая желтая черешня в зеленой вазе. И Эльза в красном шелковом платье. Ее горящие глаза. Полуулыбка влажных губ. И маленькие белые руки, которыми она так и норовила дотронуться до своего ненаглядного. Жилистый, маленький, заросший до самой шеи рыжим волосом, он хмурился, покашливал, подливал дамам вина, а мне сок. В конце концов, под песни Джо Дассена вечер стал настолько томным, что мы поспешили ретироваться. Он вызвался проводить нас, но мама, видя в зеркале, как Эльза украдкой обняла его и поцеловала в затылок, улыбнулась и сказала, что дойдем мы сами.

Этот второй оказался крепким орешком. Эльза стала приходить реже, поток подарков иссякал. Кукла Катарина сиротливо пылилась в шкафу – мое десятилетнее сердце жаждало новых даров.

Они стали поступать через восемь месяцев. Первым подношением стал роскошный черный виноград в плетеной корзинке. Тугие, сизые, полные жизни гроздья так не вязались с исхудавшей Эльзой, что мама без слов обняла ее за плечи и усадила на оттоманку.

– Я несчастна, Оля! – успела сказать Эльза, и тут же поток рыданий, икоты и всхлипов прервал ее слова.

Из сбивчивого рассказа с запахом валерьянки следовало, что второй оказался: а)деспотом; б)тираном; в) монстром; г)скупердяем; д)первым, вторым, третьим и четвертым одновременно! Он не разрешал Эльзе работать, контролировал каждую копейку и требовал, чтобы она представляла чеки из всех магазинов. При этом был страшным грязнулей, увлекался выпивкой и заставлял, чтобы Эльза постоянно ходила или в красном, или в тигровом! «Я не могу, не могу так больше, Оля! Мне кажется, что я это не я, а какой-то окровавленный Шерхан!»

Наконец, Эльза нашла в себе силы и выставила его из дома. Гладко сей акт не прошел. Он несколько раз ставил ей фингал под глаз, ночевал на половичке перед дверью, и в середине ночи соседи трезвонили Эльзе, чтобы – или забрала своего Мусечку в дом, или отвезла его куда-нибудь. За страстными ссорами следовали такие же страстные примирения, потом опять ссоры. В конце концов, Муся исчез так же бесследно, как появился. Расписаны они не были, так что обошлось без юридических проблем.

– А-а-а-а! – раскачивалась Эльза на оттоманке. – О-о-о! Фар вос! (За что?) – в минуты наибольшего волнения она переходила на идиш. Темными волнами этот язык всплывал в ее подсознании и протягивал невидимые нити к родным по материнской линии, к полузабытому детству и к бабушкиным песням.

– Эльза!! – Мама звякала чашкой с чаем так, что брызги разлетались по столу. – Возьми себя в руки! Тебе только 40. Какие твои годы!

Какие твои годы… У большинства из нас на лбу аршинными буквами написано: «Хочу счастья!», и только у некоторых, как исключение, нежностью мерцает фраза: «Хочу дать счастье!». Эльза не была исключением. Через 8 лет счастье услышало ее. Тогда-то я впервые услышала от мамы слово «любка».

Эти восемь лет Эльза прожила Кочевницей. Она меняла жилища, как меняют чулки. Продав свою квартиру, она купила новую, начала делать в ней ремонт, не закончила, продала. Купила другую, опять ремонт, пыль, рулоны обоев, штукатурка, вещи, наваленные в углу. За восемь лет она сменила 6(!!!) квартир. Вечный ремонт, из постоянной мебели только раскладушка да старинная ширма, разрисованная веерами и листьями. Креслами служили мешки с трухой и опилками, стульями – перевернутые ящики. Знакомые шутили, потом – ворчали, говорили, что у дровосека-бобыля в избушке уюта больше, чем у нее, предлагали помощь, деньги, мебель. Бесполезно! Эльза бежала от уюта, как от дикого зверя. Сейчас мне кажется, что она поступала правильно. Как могла. Уют – состояние души и стремление к нему, а у нее не было ни того, ни другого.

И вот, наконец, «вдруг, как в сказке, скрипнула дверь».

История их знакомства была покрыта тайной. Версии были различны, но больше озвучивалась одна: на пляже. Эльза была хорошо сложена, с желтовато-белой кожей, гладкими черными, словно лакированными волосами. Не портили ее чуть выпирающие зубы и плоские мочки ушей, будто приклеенные к голове. Более всего же хороши были глаза, удлиненного разреза и необычного фиалкового цвета. «Такие глаза в мире только у двух женщин, – говорила мама, – у Элизабет Тейлор и у тебя». Сравнение с Элизабет льстило Эльзе, всегда у нее на стене висел портрет Тейлор в роли Клеопатры.

Что произошло на пляже, что произошло после пляжа, трудно сказать. Но 48-

летнюю потухающую Эльзу закружил, смял, заворожил вихрь страстей. Не вихрь – вулкан, огнедышащая лава! Без того худощавая, она еще больше постройнела, глаза не просто вспыхивали и горели, а светились постоянным внутренним огнем, она пламенела дивной и страшной красотой предувядания.

Олегу было 29. Шатен с узкими зелеными глазами. Актер местного ТЮЗа. Когда вышел из возраста четвертого дерева и пятой кикиморы в «Аленьком цветочке» и «Царевне-лягушке», стал играть д'Артаньяна и пирата Джона Сильвера. На момент знакомства с Эльзой эти два персонажа кристаллизовались в нем и выдали миру коктейль чего-то безумно отважного и обаятельно-циничного. Самоуверенного. В общем, того, что безотказно действует на женщину. Семьи у него не было. Жил он в маленькой съемной квартире на окраине города. Несколько глубоких взглядов и искренней задушевности подействовали на Эльзу опьяняюще. Через несколько недель он переехал к ней. Они стали жить вместе.

Эльза была прекрасна. Никогда раньше она не цвела так ослепительно. Глядя на нее, язык не поворачивался подумать и сказать что-то плохое. Хотелось, чтобы это состояние продлилось у нее как можно дольше. Мама осторожно крестила ее вслед, когда она, уходя от нас, не сбегала, а слетала по ступенькам. Все сомнения мамы – «он же молодой, прощелыга, он же поиграет с ней и бросит, еще и в квартире ее пропишется» – повисали у нее на языке. У Эльзы были такие струящиеся счастьем глаза, что все слова казались бессмысленными и беспощадными.

Скромница в первом браке, осторожная и деликатная женщина во втором, сейчас она будто наверстывала за всю свою недолюбленную жизнь. Запаленные кони страсти гнали и гнали ее к последнему пределу. Казалось, она нашла то, что невольно искала всегда. Кочевница обрела Дом. Рыдания прекратились. Были только слезы радости и беспрестанное «тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы!»

О-о-о, какие сыпались на нас в это время подарки! Шарфы, кофточки, сувениры, духи, и конфеты, конфеты, конфеты... Сладкая вуаль счастья. Да Бог с ними, подарками! Какими лучистыми словами она обволакивала всех окружающих. И не только окружающих! Нежностью своей она не обделяла ни бездомных кошек, ни блохастых собак, ни травинку, ни камень. А уж для единственного любимого Олеженьки сколько выдумывалось ласковых имен! Аленький мой, Аленький, Легонький, Леженька-Неженька, Олегушка, Ольгушевич и даже Оле-Лукойе!

Фонтаном ласки от нее било! Когда она забегала к нам и с размаху усаживалась на оттоманку, мама уже не говорила ни слова. Молча ставила перед нею чай и слушала. Чай или стыл нетронутым, или же мгновенно отхлебывался кипятком, так что обжигал ей все небо, но на поток слов это не влияло. Никогда в жизни я не слышала столько восторженных эпитетов. Обнаженное сердце трепетало в каждом из них.

– Ты знаешь, Оля, – шептала она, – знаешь, что он мне подарил?! – Она наклонялась над ухом матери и шептала ей что-то. Мама улыбалась и бормотала «дай Бог, дай Бог!». Потом Эльза шептала еще что-то, мама краснела, опускала глаза и махала на нее рукой. Вообще этот шепот на ухо и мамино залитое краской лицо повторялись с четкой периодичностью. При этом глаза у обеих загорались мгновенно.

Однажды мама попыталась внять голосу осторожности.

– Эльза, ну ты любка! Не сглазь! Не надо так часто об этом рассказывать.

– Ну, я же только тебе!

– И мне не надо! От греха подальше. Мало ты в жизни мучилась?! Нашла – молчи и потеряла – молчи!

– Да ну тебя, бабка-кликуша! Оленька моя!!! Так хорошо!!!

– Любка ты, любка!

– Ага! И мне это очень нравится! И ему тоже!

– Кто бы сомневался!!!

Эльза с хохотом валилась на оттоманку, а потом начала целовать нас с мамой.

– Да пусти ты, сумасшедшая! – отбрыкивалась мама. – Точно, совсем сдурела!

Но Эльза уже стояла в дверях, сияла пунцовой помадой, искрилась.

– Все! Пока-пока! Я убегаю! Скоро Аленький с репетиции придет. Такая ответственная роль у него. Представляешь, они ставят «Алые паруса». Он играет матроса Летику. Все, я побежала мужа кормить!

– Летику! – усмехалась мама, закрывая дверь. – Ответственная роль! А чего же Грея ему не дали? Хорошо еще, что не пятое весло и не восемнадцатый парус играет! А, да ладно, лишь бы она счастлива была.

Мне тогда было 17. Я оканчивала школу, считала себя взрослой и позволила себе спросить:

– А как ты думаешь, это у них надолго?

Реакция моей строгой матери, вырастившей меня без отца, была на удивление растерянной и жалкой:

– Не знаю, Софинька (так ласково называла меня только в раннем детстве). Нет, наверно.

– А что будет тогда?– Я от неожиданности присела.

– Боюсь я. Лишь бы все было бы тихо. Любка она, а это плохо. И жизнь как-то шиворот-навыворот сложилась. Ни ребенка, ни котенка, ни мышонка. Бесприютная.

– Как это любка?

– А вот так. – И тогда я впервые услышала от мамы о ночной фиалке– любке. О том, что растет она в чаще леса и ночью заливает поляны одуряющим любовным ароматом. Много говорить мать не любила и сунула мне в руки книгу Пришвина. На отмеченной странице я прочла:

«На мое чутье, у нашей ночной фиалки порочный запах, особенно под конец, когда исчезнут все признаки весны и начнется лето. Она как будто и сама знает за собой грех и стыдится пахнуть собой при солнечном свете. Но я не раз замечал: когда ночная красавица потеряет первую свежесть, белый цвет ее потускнеет, становится желтоватым, то на этих последних днях своей красоты она теряет свой стыд и пахнет даже на солнце. Тогда можно сказать, что весна этого года совсем прошла и такой, как была, никогда не вернется».

– Поняла? – спросила мать, когда я захлопнула книгу. – Она любка!

…Прошло еше несколько месяцев. Эльза забегала к нам, закидывала подарками, болтала без умолку. Фиалковые глаза струили счастье.

Тот сентябрьский день я помню очень хорошо. Эльза забежала к нам. Руки ее были оттянуты кошелками. Она возвращалась с рынка.

– Оля! – крикнула она. – Смотри, какую я рыбу купила! И вам и нам! – она вывалила на стол в кухне серебристую большую рыбину. – Это жерех. Свежий! Только сейчас привезли. Я взяла две!

– С ума сошла! – мама всплеснула руками. – Зачем? Спасибо! Подожди! – и полезла в кошелек. – Сколько ты отдала за него?

– И не думай! – завопила Эльза. – Не возьму ни за что! Ты что, хочешь меня обидеть?! Вот я сегодня рыбки нажарю, мы с Аленьким поедим, а мне будет приятно,

что вы тоже рыбу едите.

– Да ты совсем уже со своим Аленьким! – Мама вздохнула и улыбнулась.

– Оля, я еще ежевику взяла! И груши. Пирог буду печь. Олежка ежевику любит. Я и варенье сварю.

– Хорошо, хорошо! Беги! Осторожно только!

Мама закрыла дверь и посмотрела на стол. Рыбина тускло блестела чешуей, и оскал ее был хищным.

…Испекши пирог и нажарив рыбы, Эльза решила прогуляться в сторону театра, чтобы потом вместе с Олегом вернуться домой. Светлыми и ясными были глаза у этого дня. Такие, полные притворной ясности, глаза бывают только у лгунов.

… Эльза идет быстро, высоко подняв голову и чуть улыбаясь. Ажурная сиреневая кофта свободно течет от ее шеи к плечам, к углублению матовых грудей, переходит в пояс на фиолетовой юбке. Маленькие туфли–лодочки с открытым мыском. Светлые колготки. Фиалковые глаза чуть прикрыты и оттого кажутся бархатными. Она идет к своему любимому, желанному, чтобы потом прижаться к его локтю и вернуться вместе домой.

Цок-цок-цок… Каблучки стучат!

Коричневая дверь театра. Служебный вход. Охранник знает ее, улыбается и пропускает.

Лестница на третий этаж. Мужские гримерки.

Эльза улыбается и толкает белую дверь с табличкой «Мазурин. Соловьев». Гримерка одна на двух актеров.

Дверь не заперта. В гримерке на столе ее Аленький и молоденькая актриса делают «семнадцатый трюк – шпагат орла». Мюзикла Чикаго тогда не было, но эти фигуры были всегда.

Эльза осторожно прикрыла дверь. Выдохнула. Тихо пошла вниз. Вначале она ничего не слышала и не видела. Кажется, никого не встретила. Кивнула охраннику и вышла на улицу.

…Такой светлый день. С притворной ясностью, которая отличает глаза лгунов. Смеются маленькие дети. С деревьев нежно падают листья. Один, другой, третий…

В мозгу отчетливо всплывает картина. Стол с отодвинутыми коробочками грима, запрокинутое в зеркало молодое девичье лицо, раскинутые стройные ноги и спина ее Аленького…

Ландыш, ландыш белоснежный,
Розан аленький!
Каждый говорил ей нежно:
"Моя маленькая!"

Что было потом, я помню со слов мамы. Кажется, обошлось без скандалов. Олег не стал отпираться, сказал, что давно любит эту актрису, они думают пожениться, собрал вещи и переехал к ней. Вроде он в самых искренних выражениях поблагодарил Эльзу за счастье, которым она его дарила. Мама, рассказывая об этом, неизменно отплевывалась и цедила: «Акт-т-тер!», вкладывая в третью букву все свое презрение.

Эльза была спокойна, как может быть спокоен человек, у которого сожгли душу. Взгляд ее был светел, но мама говорила, что лучше бы ей видеть Эльзу снова рыдающей, смеющейся, болтающей без умолку и утомляться от этих бешеных смен

настроения, но не такой тихой.

Мама и другие знакомые навещали Эльзу по очереди, звали к себе. Она со всеми была ровна, вежлива и даже улыбчива. Но всякий, выходя от нее, давал себе слово не спускать с нее глаз.

– Слишком много воли им дали! – ворчала старая соседка. Без этого непременного атрибута дворовых посиделок, знающего все обо всех, не обошлась и жизнь Эльзы. – Подумаешь, мужик бросил! А чего ты хотела?! Молодой же! На себя в зеркало бы посмотрела! О душе давно надо думать, а она юбки-кофточки напялила, подмазюкалась и идее-е-ет! Тьфу!

Спорить с ней было бесполезно, но мама после этих слов принципиально с нею не здоровалась, хотя возраст всегда почитала.

Как это могло произойти, никто и не понял. Вроде ее не оставляли одну дома. Кто-то из знакомых мамы даже хлопотал о путевке в санаторий. Эльза кивала головой, соглашалась, благодарила.

Она умерла внезапно, на переходе. Ничто не предвещало. Понесла два баула своих вещей, половина из которых были новыми, в детский дом. Вещи ее были яркими, нарядными, она хорошо шила и вязала.

В тот декабрьский день она была одета в черную шубку и черные же полуботинки. Остановилась, пережидая поток машин. Заметила, что молния на одном ботинке расстегнута. Нагнулась закрыть, и уже не поднялась. Оторвался тромб.

Пока вызывали скорую и милицию, ее уложили на тротуаре. Нетающие снежинки садились на белое лицо, на фиалковые прекрасные глаза. Их так и не смогли закрыть, и они медленно тускнели.

Потом ее увезла скорая, началось разбирательство, выяснилось, что близких родственников не было, вызвали знакомых, подруг. Из своего КБ она давно ушла, еще во времена Мусечки, подрабатывала шитьем, вязанием и репетиторством по математике.

На похоронах собралось много народу. Знакомые, соседи, ученики, их родители, клиентки, которым она шила платья. Аленький не пришел. Возможно, не знал, или намеренно не пришел.

– Эленька моя! – надрывалась мама. – Эленька-а-а! Подружка моя единственная!.. – Ей вторили и другие. Жаль было Эльзу. Любили ее…

Похоронили ее на старом кладбище рядом с родителями. Соорудили маленький железный крест с табличкой. На табличке имя, отчество и фамилия, две даты. Все как полагается. Снег вскоре укрыл могилу.

Весной мы с мамой пошли на кладбище навестить ее. Апрельская земля растрескалась, и ее покрыли легкие синие цветы. Их было сотни. Головки их качались на ветру, кланялись Эльзе.

– Вот и синяя птица твоя прилетела, Эленька, – сказала мама и заплакала. Я вспомнила, что всякий раз Эльза, рассказывая о новой любви, говорила о синей птице счастья. Эта пьесу Метерлинка она очень любила.

– Ты представляешь, Оля, – говорила она с придыханием, – я все же поймала свою синюю птицу! Она со мной!..

Яркое апрельское солнце осветило могилу. Яркие синие цветы. На них алели принесенные нами гвоздики. Яркие, яркие, яркие…

Не было в моей жизни женщины щедрее и ярче ее…

Башмачок

…Всякий раз, стирая пыль с этого темно-коричневого керамического башмачка-сувенира, я уношусь воспоминаниями в незабываемый вечер моей юности, в мои невозвратимые, жестокие, святые семнадцать лет, когда люди старше тридцати кажутся ископаемыми, а собственные чувства и мысли – истиной в последней инстанции.

О, наивная снисходительность юности! С каким едва скрываемым превосходством я смотрела на людей старше себя. Разве они знают, что такое любовь, разве звезды сияют для них так же ярко, как для меня, разве их сердце, заплывшее жиром от плова и одних и тех же разговоров, бьется так же вдохновенно, как у меня?!

Не знала я еще тогда, что это были последние годы, когда люди на семейных торжествах не только нагружались едой и демонстрировали богатые наряды, а умели радоваться друг другу, пели, рассказывали забавные истории, танцевали, отодвигая столы к углам комнаты, и смеялись искренне и тепло. Не знала я, что совсем скоро на смену трогательному и милому человеческому общению придет всеобщая хвастовство кулинарными изысками, будто в поглощении Пизанской башни из зеленого горошка и яиц Фаберже из заливного языка заключен некий сакральный смысл.

Нет, ничего этого я еще не знала. Как не знала и то, что настанет время перевалить мне не только 30-летний, но и 40-летний рубеж.

«Ты еще на гору, а я уже с горы, – говорила моя бабушка. – А спускаться всегда труднее, чем подыматься».

Эх, бабушка моя… Пыль-то стереть можно, да и башмачок не вечен, а вот как стереть память?..

***

После ужина, тяжелого, обильного и бестолкового, у всех слипались глаза, по желудкам волнами расходилось приятное тепло. Женщины прикрыли шалями выпятившиеся животики, мужчины расстегнули пуговицы на пиджаках. Было томительно и сладко. Тела были напитаны, пришел черед пищи для души.

– Лалочка-Ляличка,– вкрадчиво попросил хозяйку дома ее дядя. – Сделай милость, свяжи землю с небесами!

«Связать землю с небесами» по давней семейной традиции означало пение. Хозяйка дома, сорокашестилетняя Лала, которую все, несмотря на двух детей-студентов и статус доцента института, все называли ласково «Ляличка» за миниатюрность и девичью порывистость, прекрасно пела. Голос у нее был небольшой, но удивительно благозвучный. Шелк и масло были в нем. Целебными волнами растворялись они в воздухе и ласкали слух.

– Да, Ляличка, спой, пожалуйста!– раздалось еще несколько голосов.

– Лала, люди просят! – благодушно поддакнул супруг.

Ляличка любила петь и гордилась, когда ее хвалили. Потупив для виду глаза, она подошла к пианино. Это был старинный еще дедов инструмент красного дерева с золочеными шандалами по бокам и резным черным пюпитром. В шандалы уже давно никто не вставлял свечей, – с электричеством проблем не было, а черный пюпитр использовался очень давно, когда Лала была еще пухлой девочкой с толстыми косичками, ходила в музыкальную школу и играла по нотам. Сейчас ноты почти не использовались, Лала на слух подбирала полюбившиеся мелодии и разучивала песни.

Но само пианино с его благородным блеском, золочеными шандалами и чуть потрескавшимися клавишами цвета слоновой кости настраивало на возвышенный лад. Так и хотелось повесить над ним вместо портрета Ляличкиного свекра, портрет Моцарта в пудреном парике и сменить современные стулья на старинные покойные кресла с тяжелыми подлокотниками.

– Что вам сыграть? – улыбнулась Ляличка гостям.

– Что хочешь, любое, – раздался нестройный хор голосов.

Ляличка задумалась на секунду. Потом решительно откинула крышку и нежно, но сильно дотронулась до клавиш:

Оплавляются свечи
На старинный паркет,
Дождь стекает на плечи
Серебром эполет.
Как в агонии бродит
Золотое вино...
Пусть былое уходит, пусть былое уходит –
Что придет – все равно, все равно...

Гости молчали, завороженные. Голос небольшой, но мягкий и звучный, заполнил комнату. Романса этого никто не знал, но он тревожно и томительно сжимал сердце. Будто что-то должно было произойти, что-то очень важное, чему нет названия в человеческом языке, но то, к чему невольно все мы стремимся. И уже теплые огоньки зажглись в душе, хотелось говорить о чем-то добром, светлом, высоком и милом, о том, что выше желудка, выше постоянной ежедневной погони за материальными благами, погони пустой, неблагодарной, ибо чем больше имеешь, тем больше хочется. Нет, этот тихий, полный скрытого электричества романс гладил сердце. Каждому вспомнилось что-то доброе, давно забытое. И чуть-чуть призывно стали дрожать кончики ресниц у женщин, пальцы мужчин нервно постукивали по столу.

И, в предсмертном томленье
Озираясь назад,
Убегают олени,
Нарываясь на залп.
Кто-то дуло наводит
На невинную грудь...
Пусть былое уходит, пусть былое уходит –
Пусть придет что-нибудь, что-нибудь...

Кто-то злой и умелый,
Веселясь, наугад
Мечет острые стрелы
В воспаленный закат.
Слышно в буре мелодий
Повторение нот...
Все былое уходит, все былое уходит –
Пусть придет что придет, что придет...

– Пусть придет… чай! – провозгласил муж Лялички, потирая руки. Нервное напряжение надо было чем-то разрядить.

Теплые огоньки в душе погасли. Раздались громкие хлопки. Гости благодарили Лялечку восторженно и немного смущенно.

– Что это за романс?– поинтересовалась супруга высокопоставленного родственника и, услышав ответ: «Высоцкого», удивленно пожала плечами: – Надо же! Никогда бы не подумала! Какая ты у нас Лялечка разносторонняя! – Последнее было сказано с легкой досадой.

– А теперь, а теперь! – воскликнул муж Лялички. – Пусть каждый расскажет свою интересную историю, споет, или станцует. Выигравший получит приз. – И он положил руку на маленькую картонную коробку, перевязанную красной лентой.

Что тут началось! Каждый норовил рассказать анекдот, кто-то плясал цыганочку, тренькал на пианино арию Кармен, даже пытались изобразить танец маленьких лебедей. Только чета высокопоставленных родственников снисходительно улыбалась. От участия в конкурсе они отказались.

В углу дивана сидел маленький тщедущный человечек. Один глаз его был затянут плотной белой пленкой, второй видел очень плохо. Это был троюродный брат Лялички, калека от рождения. Своей семьи у него не было, родители давно умерли, и ухаживала за ним незамужняя сестра. Он выполнял небольшую работу в обществе слепых и получал пенсию по инвалидности. Был очень образован, и стремился поделиться своими знаниями, но голос его был скрипучим и монотонным, а манера разговора – давящей. Людей это утомляло, и они пытались избежать общения с ним, испытывая при этом уколы совести. Его приглашали на все семейные торжества, но усаживали в самый дальний угол стола, придвигали все блюда, чтобы не видеть, как беспомощно он шарит по скатерти в поисках вилки или солонки, и благополучно забывали. Он был кроток и, кажется, давно знал свое место. Пригласили – скажи «спасибо», поел, попил, и уходи с Богом. Единственный едва зрячий глаз его с тоской устремлялся на нарядных, жующих людей. По лицу блуждала жалкая улыбка. Господи, ведь ему так много есть что рассказать, он так много знает, он учился хорошо и охотно, день за днем преодолевая немощь и недуг. Знания его распирают… но людям не нужны его знания. Обилие знаний вообще утомляет, а когда им обладают другие, да еще недужные люди, то какой это укол самолюбия для здоровых людей!

…Вот и сейчас его обойдут вниманием. Плясать он не может, но может сыграть на пианино и даже спеть, но кто же его подведет к инструменту? Сейчас широко улыбнутся и скажут: «Мы знаем, что вы очень эрудированный человек, но нам так не хочется вас утомлять». И тут же мило добавят: «Хотите еще чаю? Что вам положить на тарелку?» А ему не хочется чаю, ему хочется говорить.

К горлу подкатывает холодящий комок, бешено колотится сердце. Неведомый приз ему не нужен, он будет говорить.

– Это было давно, – начинает он, и сам пугается своего голоса. Он звучит сухо и сдавленно, будто открывают наглухо заколоченную дверь. – История памятная.

…Лялечка вздохнула и вышла на кухню заварить свежего чаю. Гости улыбнулись и … подавили легкий зевок.

… – Я учился в городе В. в педагогическом институте. Моему отцу, светлая ему память, стоило больших трудов дать мне образование. Почти слепого учить трудно. Отец ничего не жалел для меня. У меня даже была чтица. Святая женщина, сколько терпения ей потребовалось со мной, пока я перестал себя жалеть и взялся всерьез

за учебу. И школу закончил с золотой медалью и в институте учился лучше всех, чем и горжусь!

Он легонько прихлопнул рукой по столу. Муж Лялички принялся нарезать гостям яблоки.

– В нашей группе училась девочка, Лия Оболенская. Мать ее была простой женщиной, а вот род отца по прямой линии восходил к декабристу Евгению Оболенскому. Отец Лии бросил жену, когда дочь была совсем маленькой. Мать работала лаборанткой в каком-то НИИ, мыла колбы и мензурки и единственной гордостью семьи было то, что Лия учится в институте. Мать ее даже перед этим словом испытывала какое-то благоговение и выговаривала не «институт», а с каким-то придыханием: «инистут!» Жили они, конечно, бедно, Лия была худенькой, плохо одевалась. Ходила летом в ситцевом платье неопределенного цвета из-за частой стирки, а зимой в узком зеленом свитере и рукава у него укорачивались с каждым годом.

То ли магия фамилии, то ли весь ее облик, трогательный и нежный, очаровывал меня. На филологическом факультете парней вообще мало, а на тех, кто есть, смотрят с какой-то жалостью. Девушки у нас в группе были уже вызревшие, вовсю пользовались косметикой, носили ультракороткие юбки и встречались с парнями других факультетов.

Меня, думаю, они за парня особо не принимали, даже в одежде могли себе что-то поправить в моем присутствии. Но часто предлагали то пирожок, то бутерброд, то печенье.

К Лие относились тоже с жалостью, но с какой-то долей зависти. И было отчего. У нее были необыкновенные, богатые, с отблеском старого золота, волосы. Она не распускала их, не собирала в хвост, не заплетала в косу, а закручивала в тугой узел на макушке и вкалывала в него две деревянные палочки с нарисованными фиалками на концах. По этим палочкам ее и узнавали. Старые педагоги называли «японкой декабристского розлива», студентки более чем снисходительно – «Лия с палочками» или «Лия с фиалочками».

Но за помощью обращались именно к ней или ко мне. Училась Лия превосходно, правда, брала больше не способностями, а усидчивостью, невероятным трудолюбием. Ей нравились далеко не все предметы, но она, как пчелка, трудилась, и не из-за честолюбия, а чтобы порадовать мать хорошими отметками. К матери она была привязана необыкновенно. Как-то помню, я угостил девчонок в группе пахлавой, присланной мне из дома. Все ели и нахваливали, одна Лия ничего не сказала, только поблагодарила и когда я спросил, понравилось ли ей, она замялась и робко сказала, что хочет отнести маме. Я пожалел тогда, что вся пахлава уже кончилась, и я не могу принести ей еще кусочек.

С каждым днем она нравилась мне все больше. От нее веяло какой-то особой чистотой, и заношенные платья ее уже казались драгоценными.

Повторяю, самым примечательным в ее облике были волосы, вернее, этот пучок, заколотый двумя палочками. Но сколько раз на лекциях я до рези в глазу вглядывался в этот милый профиль с золотистой челкой, вздернутый носик с конопушками и кончики густых и светлых ресниц.

Гости подавили улыбку и принялись за свежезаваренный чай. Слепец чуть помолчал и продолжил:

– И вот случилось так, что я увидел эти волосы. Первый и последний раз в жизни. И это было счастьем и горем одновременно. Если бы я только знал, что слу-

чится за этим потом…

Я стал провожать ее до дома. Полюбил эти грустные улочки, парк с памятником известному поэту, серую реку с палыми листьями, часы кукольного театра.

Отчетливо помню тот осенний день, когда мы увидели около универмага сгорбленную от холода старушку. Она держала в руках букет дубков – маленьких хризантем. В конце октября весь город был наполнен ими и даже в воздухе тянулся их горьковатый свежий запах.

Старушка продавала их за 20 копеек. Я дал ей рубль и сказал, что сдачи не надо. Она заморгала глазами, начала благодарить и пожелала «вам и вашей невесте счастья, долгих лет жизни».

Лия смутилась. А мне стало так хорошо и горячо. Захотелось расцеловать старушку. Если бы у меня было больше денег, я бы отдал ей все. Но у студентов много денег не бывает.

А Лия осторожно, как хрусталь, взяла этот блеклый букет, и … свет брызнул из ее глаз. Я видел это, и это было самым ярким, что я видел в своей жизни. Кто-то сказал, что человеку для счастья надо очень мало. Это правда. Всего лишь любить и быть любимым.

Я потянулся к ней и поцеловал в губы. Они были мягкие и немножко соленые. Она не отстранилась от меня, только напружинилась, стала даже выше ростом. Я потянулся снова, чтобы обнять, и тут рукой задел одну из палочек в прическе. Она выпала, и сломалась, а пучок размотался.

Мне показалось, что взошло солнце. Сказать, что волосы были длинные – ничего не сказать. Они покрыли ее всю, бесконечными змейками бежали по шее, спине, пояснице, спускались ниже впадинки под коленками. Они пахли травой, яблоками, какими-то слабыми духами. Если бы у нежности был запах, она бы пахла, как волосы Лии. Если бы я держал солнце в руках, оно было бы таким же, как волосы Лии. Я схватил Лию, как сумасшедший стал покрывать поцелуями лицо, глаза, щеки, шею, волосы. Она не отталкивала меня, отвечала нежно, неопытно, трогательно…

Я не помню, был ли кто-то рядом с нами. По-моему нет. Но даже если был, какое это могло бы иметь значение! Белый букет превратился в серые лохмотья, но я готов был их расцеловать.

Потом мы долго соображали, как заколоть это пушистое чудо последней оставшейся палочкой. Я сбегал в универмаг, купил шпильки. А она ждала меня на улице и смеялась, а потом рассказала мне, что фиалки на палочках нарисовала сама, потому что Лия в переводе означает «фиалка».

Муж Лялички незаметно махнул рукою переглядывающимся гостям. Не перебивать же увечного… А он молчал, прикрыв глаза.

– И… что было потом? – с ядовитой вежливостью спросил кто-то.

– Потом ее убили. – Голос прозвучал отрывисто. – В эту же ночь. Я проводил ее до дома, она поднялась к себе на второй этаж. А я, не помня себя от счастья, помчался к себе в общежитие. Четыре раза налетел на какие-то столбы, скамейки, черт еще знает что. Если бы знал, что будет, на коврике бы перед дверью ее заночевал, глаз бы не сомкнул.

А вечером к ним кто-то постучал. Я не знаю, был ли у Лииной матери ухажер, возможно, был, говорили, что у него были какие-то сомнительные друзья, в общем, история темная, что хотели украсть – непонятно, да и что можно было украсть у лаборантки, но убили и мать, и дочь. Плохо убили. Мать ударили ножом в грудь, Лия

бросилась к ней, и ей проломили голову табуреткой. И потом добивали…

Когда их хоронили, лицо Лии было закрыто. И волосы тоже. У нас половина группы на похороны не пришли. Девчонки в обморок падали. Были некоторые педагоги из института, соседи, сотрудники из НИИ.

Надо было заканчивать институт. Но свет померк для меня вместе с ее золотыми волосами. Я перевелся в другой город, а потом бросил, не смог учиться филологии, вернулся домой, поступил в другой вуз, учился без охоты, но закончил. Как живу сейчас и где работаю – вы знаете. Вот и все.

– Какой ужас! – воскликнула жена высокопоставленного родственника. – Бедная девочка! Нет, я всегда говорила и повторю: одинокая женщина, да еще мать девочки должна вести очень осторожный образ жизни! Неизвестно еще, какие дела она вела! Колбы, мензурки, – в жизни не поверю – все они, тихони, хороши!

– Да, наверно, из-за квартиры убили. Такое часто бывает.

Поднялся шум. Каждый развивал свои версии убийства. Слепец сидел молча. Лялička посмотрела на него, потом на мужа, и супруги едва заметно кивнули друг другу.

– Я думаю, что выражу общее мнение, – сказал муж Лялички и постучал вилкой по бокалу. Я думаю, что победитель нашего сегодняшнего конкурса – последний рассказчик. История, рассказанная им, и жизненная, и поэтичная, и страшная, и мы жалеем только, что наш приз такой маленький и шуточный.

С этими словами он вынул из картонной коробки коричневый башмачок-сувенир и подвинул его к слепцу.

– Конечно, конечно, приз заслужен вами, – с облегчением зашумели гости. Вечер счастливо близился к концу.

– Если можно, я бы хотел, – тихо сказал слепец, оглаживая башмачок, – чтобы приз остался в этом доме. Пожалуйста, – прибавил он кротко.

Лялička пристально поглядела на него. Потом подбежала и порывисто поцеловала в щеку.

… – Ты знала эту историю?– спросил муж у Лялички, когда гости разошлись.

– Нет, – покачала головой она. – Он никогда не рассказывал о ней.

– Странно… – протянул муж. – А ты тоже хороша. Взрослая замужняя женщина, а при всех целуешь постороннего мужчину.

– Ну, ведь это мой троюродный брат!

– Ну не все же об этом знают. Ладно, а чего он не взял приз?

– Откуда я знаю? Разволновался, наверно.

– А, Бог с ним. Несчастный человек. Все, я сплю. Спокойной ночи!

– Спокойной ночи.

***

…Я не помню, когда и каким образом, попал в наш дом тот самый башмачок-приз. Но всякий раз, беря его в руки, стирая с него пыль, я вспоминаю тот памятный вечер в гостях. То время, когда люди на семейных торжествах не только нагружались едой и демонстрировали богатые наряды, а еще умели радоваться друг другу, пели, рассказывали забавные истории, танцевали, отодвигая столы к углам комнаты, смеялись искренне и тепло и, кажется, умели любить и помнить о любви.

Суб роза диктум

Агния, сестра моей названой бабушки была женщиной сказочной красоты и дрянного характера.

Пушкинское «Нет на свете царицы краше польской девицы» было сказано будто про нее.

Уже не пушкинское, а семейное: «Ангел лицом, душой Квазимодо» – тоже про нее. Хотя Квазимодо Гюго был вроде, наоборот, прекрасен душою, но тут его внешность переносилась на характер бабушкиной сестры.

Высокая, точеная, с алебастровой кожей, с глазами Сольвейг – она и в 71 год заставляла оборачиваться и смотреть ей вслед.

Склочная, злопамятная, мнительная – она давала прикурить всей родне и соседям. Невестки от нее рыдали, один зять вовремя догадался сгрести свою жену с детишками в охапку и переехать в другой город, чем спас свой брак. Другой оказался менее сообразительным и более покладистым. Терпел, пока хватало сил, потом, вмешательство тещи в его семью стало смерти подобно, взял ноги в руки и сбежал подобру-поздорову, за что получил нескончаемые тещины проклятия в свой адрес, но спас свою жизнь. Две дочери перед ней трепетали, два сына (уважаемые люди) навытяжку стояли. «Это вы у себя там большие начальники, у меня дома вы – мои букашки. Понятно?!» Она употребляла другое слово, но приличнее это.

Меня она полюбила своей суровой деспотичной любовью, если ее души вообще касалось это чувство.

Она жила в большом деревянном доме, пропахшем яблоками и сухими травами. Впрочем, жила – это громко сказано. Зимой по очереди гостила у своих детей, оставляя мужа в одиночестве, летом все должны были в обязательном порядке переезжать в ее дачный дом. Из всех родственников она выделяла меня, называя «упарта цуречка» – упрямая девочка(дочка). Не знаю, кажется, она это говорила с довольной усмешкой. Впрочем, может, это мне только казалось.

Ее муж, Юзеф, или как мы его называли, дедушка Юзик, майор, с честью прошедший всю войну, освобождавший Кенигсберг и увенчавший себя славой, трепетал перед ней как рядовой перед маршалом.

– Нет, ты посмотри! – иногда говорил он мне и брал дрожащей рукой папиросу из маленького серебряного портсигара. – Ты послушай, она говорит, что жила со мной впроголодь, куска не доедала, раздетая ходила! А я после войны, в самое тяжелое время, приносил ей сливочное масло и черную икру, чулки фильдеперсовые, шевиотовые костюмы, даже как-то духи Диор подарил. Ни одного дня в жизни не работала. И все ей плохо! Ну, не обидно?!

Он давно уже жил в крохотной пристройке к дому. Там всегда было накурено донельзя. Под предлогом того, что не переносит запаха табака, бабушка Агния давно изгнала его с супружеского ложа. Приходил он только на обед и завтрак, даже чай предпочитал пить у себя в пристройке. За обедом смотрел, как жена разливает суп из фарфорового супника, как солнце озаряет ее полную белую руку с ямочкой около локтя, слушал, как она ворчит, молчал и любовался.

Гонором бабушка Агния отличалась непомерным и, проходя по улице большого поселка, едва кивала головой на приветствия знакомых. Те, впрочем, давно с этим смирились. Давно уже среди поселковых сложилось мнение: «Агнию надо поставить на главной площади перед домом культуры и любоваться на нее. Только пусть рот не

открывает!»

...Когда она умерла, и дедушку Юзика под руки подвели к гробу попрощаться, он казалось, не видел ничего и все клонил белую голову на грудь.Потом вздрогнул, – маленький, сухой – и тихо заплакал, будто заскулил: «Агнюша, Агнюша...»

Его Агнюша лежала строгая, прямая, красивая. В черном шелковом платье,свободно обернутом вокруг ног, в черной шелковой наколке на серебряных волосах, с искусственным цветком розы на платье. Роза была из черного жоржета, будто припудренная, и от того казалась седой.

Похоронили бабушку Агнию на поселковом кладбище. Дед Юзик почти ничего не ел на поминках. Молчал. Курил. Соседи жалостливо вздыхали, косясь на него, дети и внуки дали себе слово забрать старика с собою, но не тут-то было!

Никакие уговоры не помогали. Старик уперся. «Я от Агнюши никуда!» Посадил белую розу на ее могиле и каждый день ходил туда, поливал, пропалывал, убирал.

Кто-то однажды решил поднять ему настроение. «Да, тебя, дядя Юзик, уже никто не пилит!» Он так сверкнул на шутника единственным зрячим глазом, что тот долго обходил его стороной.

Как-то он позвал меня в свою пристройку. Там было чисто, но нестерпимо пахло табаком и кислым запахом одинокой жизни.

– Возьми, – он протянул мне покоробленную белую тряпочку. Это оказалась маленькая белая роза из жоржета. Ее черная сестра была похоронена с бабушкой Агнией. – Вот, смотри, всю войну она была со мной. Мы хотели пожениться еще в тридцать девятом. Не успели. Я ушел на фронт, и все боялся, думал, что она бросит, вокруг нее всегда табунами поклонники ходили,а она меня дождалась.

Он сказал это с бедной победой, маленький, слепой на один глаз после ранения, дедушка Юзик.

– А розы эти я сам вырезал из жоржета, как-то от баловства. Прочитал где-то, что в Древнем Риме, если хотели, чтобы разговор между двоими остался в тайне, то вешали над дверью цветок розы и говорили: «суб роза диктум – я сказал тебе под розой». Это значит, что никто не должен слышать наших тайных слов. Агнюше это так понравилось, что она потребовала: «Давай сделаем такие розы, чтобы они никогда не вяли, и повесим на стену в нашей комнате». Мы уже тогда мечтали о своем доме. Ну,нашли два кусочка жоржета в портняжной мастерской. Хотели красную и белую. Но красного жоржета не оказалось, только черный.Вот я вырезал, потом замазал клеем, и посыпал пудрой. Получилось очень хорошо, но Агнюше больше черная понравилась. Она ее себе взяла, а белая у меня осталась. А потом уже когда после войны поженились, вместе их держали в спальне.

Я вспомнила, что дедушка Юзик не допускался до супружеского ложа, но вопрос застыл у меня на языке.

– Было как-то. Бес попутал, – усмехнулся он. – Агнюша узнала, не простила. А все ж таки, все равно моя была, моя, всегда моя...

Последние слова утонули в беззвучном плаче.

Дедушка Юзик пережил бабушку Агнию на четыре месяца и 18 дней.

Похоронили его рядом с ней, под розой.

Суб роза диктум...

ХИДЖРАН ГУСЕЙНОВА

Странная мечта

«Хотя бы поставили пять, хотя бы, хотя бы…» – шептала я про себя эти слова, словно молитву.

Откуда возникло это странное, необъяснимое желание, я тогда не думала. Просто желала – и все. В то время все казалось мне таким простым и ясным, досягаемым и возможным.

Каждый день я встречалась с человеком, которому симпатизировала, в музыкальной школе, где училась игре на фортепиано.

Мой педагог Татьяна, казалось мне, не любила свою профессию, просто делала свое дело.

Однажды произошло событие, которое изменило всю мою жизнь. В тот день я исполняла трудное фортепианное произведение из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». Мне казалось, что играла я очень даже неплохо. Но учительница заставляла меня играть снова и снова, будто бы тянула время. Я рассердилась и, повернувшись к ней, увидела следующую картину: она меня не слушала, а с холодным и равнодушным лицом ела яблоко. Говорить здесь о любви к музыке, к детям, конечно же, было бы смешно.

С чувством глубокой обиды и отвращения я выбежала из класса раньше времени, с твердым намерением уйти из школы. Учительница с виноватым видом пыталась вернуть меня в класс, но я ее не послушала. Может быть, именно тогда я впервые узнала, что такое равнодушие и безразличие.

… Но я отвлеклась, ведь рассказывала вам о своем странном желании, чтобы тот, кому я симпатизировала, получил пятерку. В этом человеке меня привлекало буквально все: шелковистые волосы, горделивая походка, высокомерный взгляд. Мне казалось, что даже одежда и обувь у него какие-то особенные. Самым интересным было то, что мы сдавали экзамены в один и тот же день. Я иногда бросала на него взгляды, ждала, что симпатичный мне человек о чем-то спросит меня. Порой я думаю: «Почему я тогда не сделала первый шаг сама, не заговорила первой? Не хватило смелости? Но если я такая несмелая, то почему же тогда выразила свой протест педагогу по музыке? Не я ли сама решала, ходить или не ходить мне в музыкальную школу?»

В тот день моя симпатия получила на экзамене пятерку, и я обрадовалась этому от всей души. Как же было легко в то время радоваться за кого-то от всей души… Весь мир казался тогда цветным и прекрасным. Мои мысли и чувства были такими же светлыми, гармоничными, как и исполняемые мною фортепианные произведения. Тот день стал для меня праздником.

Наверное, мой впечатлительный читатель (если это было не так, то ты не прочитал бы до конца мой рассказ), ты подумаешь, что это рассказ о моей первой любви? Но я, как всегда, удивлю тебя! Тот, кому я желала получить пятерку, был не мальчиком, а девочкой, моей ровесницей.

Перевод Еганы МУСТАФАЕВОЙ

ЕЛИЗАВЕТА КАСУМОВА

Актриса

В ее длинной жизни
чего только не было...
Жила, не думая,
времени всегда – впритык.
Она свою жизнь
не писала набело,
А все только будто
набрасывала черновик.
Было все:
премьеры,
букеты,
поклонники,
Пылких обожателей
череда,
Что у двери
выстраивались,
Как на комоде –
слоники,
Под ворчанье соседей:
«Не квартира – бардак!»
Ей все так надоело
– до боли до муки!
И она,
будто яблоко,
вывалянное в пыли,
Ощутила себя старой
заежженной сукой,
Которую все еще
домогаются кобели.
Ей – изверившейся –
и поверить-то не во что,
Но, с усталой кожи
очистив грим,
Она плачет ночами
восторженной девочкой
Над зачитанной книжкою
Экзюпери...

О женской сути
(субъективно)

Ее не понять,
не познать,
не проверить,
Не просчитать до конца,
не измерить,
Таинственна
даже тогда,
когда искренна,
Она призывает –
нежна и неистова,
Ласкает
и жарко целует в уста,
Возводит на царство
иль на пьедестал,
А после бросает
и ищет других,
Чтоб мучить,
лаская и балуя их.
И в том – не жестокость,
а – женская жалость,
Стремленье одаривать,
всем чтоб досталось.
А любит не праведников,
а – бедолаг,
Беспутных, бездомных
певцов и бродяг.
Глупа и – мудра,
хитра и – беспечна,
Соткана вся
из противоречий,
Ей скучен прямой
и накатанный путь,
И в этом, наверное,
женская суть.

И – никакой загадки

Играю, притворяюсь, лгу,
Не доверяю, как врагу,
С тобой играю в прятки…
А истина – она проста:
Я бессердечна и пуста,
И – никакой загадки

А если даже и не так,
И все же я – вопроса знак,
Химера – раз и сдунул,

Я не черна и не бела,
А нимб святой вокруг чела –
Ты сам его придумал.

Могла бы, но...

Глядишь украдкою, как вор,
В сторонке сидя,
А если смотришь – то в упор
Меня не видишь.
Твой взгляд бессмысленно-незряч,
Вял до зевоты,
Так на больного смотрит врач,
Когда он за день – сотый.
Таких отчаянных притвор
Не часто встретишь.
Ты осторожен и хитер –
Ты в сердце метишь.
Из-под прикрытых век следишь,
Как кот за мышью,
На мягких лапах норовишь
Подкрасться ближе.
И всеми нервами, спиной,
Опасность чуя,
Я убежать могла бы, но...
Но не хочу я.

Ненароком

Я прошу заранее
прощенья
За проступки,
что не совершала,
А быть может,
и не совершу.
Но быть может –
ах, это «быть может»! –
Я тебя обижу,
не подумав,
Ненароком
сделаю несчастным,
А попутно, значит,
и себя,
Я прошу тебя:
ты только помни –
Это может быть
лишь ненароком,
Лишь – нечаянно,
лишь – не подумав,
А иначе и не может быть.

Бумажные розы

Прости мне мой сарказм
И глупую браваду,
Пустую чепуху,
Что я порой несу,
Прости мне пестроту
Нелепого наряда,
В который я ряжусь,
Свою скрывая суть.
За легкостью речей
Не разгадай печали,
За смехом не услышь
Невыплаканных слез.
Мой вечный оптимизм –
Букет бумажных роз,
А истинная суть
Нужна тебе едва ли...

Крест и полумесяц

Нелегко нам вместе...
Ах, встретились зачем?
Полумесяц с крестиком –
Разные совсем.
Бродили мы по свету,
Но судьба свела
Твои минареты,
Мои купола.
Православные...
Правоверные...
А Бог – един!
Это им, наверное,
Мы соединены.
Вопреки религиям,
Пророкам
И святителям,
Вопреки наветам
И злой волшбе,
Свел, связал –
Не нитями,
Одарил –
Веригами,
Приковал навеки
Меня – к тебе,
Тебя – ко мне...

Купленный герой

Каприз
стареющей женщины,
Взявшей в забеге
приз,
Каприз
все имеющей женщины,
Готовой платить
за каприз.
Она заплатит
наличными
За право
владеть тобой,
Двуличный мой,
обезличенный,
Купленный мой герой.

Косматая грусть

Секунды со стрелок
капают,
Стекая
по циферблату...
Ходит по дому
грусть косматая,
Прописавшаяся в нем
по блату.
И не выжить ее,
не выставить,
И не вытравить,
негодяйку!
Ходит,
рожу скривив пятнистую,
И твердит,
что она здесь – хозяйка.
И от этой
тягостной муки
В мире есть лишь одно
лекарство:
Голос твой
в телефонной трубке
Вмиг заставит ее
убраться!

Редакция журнала поздравляет
Назима Ибрагимова с юбилеем

ИЗДАТЕЛЬ

Назиму Ибрагимову исполнилось 80 лет. Он хорошо известен азербайджанскому обществу как достойный представитель поколения шестидесятников.

Когда-то вызывавшее определенные споры, а позже иронию и насмешку это понятие – «шестидесятник» уже нашло подтверждение в истории, однако, до сих пор находятся те, кто не воспринимает, не любит, а порой и ненавидит людей, представляющих это поколение. Деятельность шестидесятников стала литературно-художественным, общественно-политическим явлением, наложившим свой отпечаток на всю нашу общественно-политическую жизнь. Но удивительная, а может закономерная сторона этого вопроса в том, что и по сей день те, кто относится к этому поколению с ненавистью, а порой и с откровенной враждебностью, правят бал во всех странах постсоветского пространства.

И в Азербайджане мы наблюдаем аналогичную картину. По собственному признанию некоторых, можно, оказывается, притязать на звание поэта, не написав ни строчки, стать прозаиком, не создав ни одного произведения и таким образом одолеть истинных поэтов и прозаиков, одержать над ними верх. Ни написав ничего, объявить себя писателем! Но как же, пишут… Не способные ничего создать в других жанрах, они преуспевают в клевете, в оскорблениях. Причем, о ком и о чем бы они ни писали, их главная цель – обязательно уколоть известных представителей поколения шестидесятников.

Вопреки укусам мошкары видные представители шестидесятых сумели и продолжают делать наиболее важное в жизни: создавать нравственные, материальные и культурные ценности. Оттого понятие «шестидесятник» не столько хронологическое, сколько адресное обозначение поколения, совершившего переворот в литературе, искусстве, культуре целой эпохи, обусловившей новый этап в развитии общественного и национального сознания.

Деятельность людей, появившихся в эту эпоху предопределило время, история. Мудрые слова Мирзы Джалила Мамедкулизаде, сказанные по поводу издания журнала «Молла Насреддин»: «Молла Насреддинна» родило само время» можно отнести и к «шестидесятникам»

Писатели, поэты, композиторы, деятели театра и кино, вдохновленные некоторым «глотком свободы» (снова выражение Джалила Мамедкулизаде), с новым энтузиазмом, вдохновением, мировоззрением и восприятием жизни взялись за созидание и сказали свое слово. И это открыло дорогу новым, в том числе, отрицающим «шестидесятников» поколениям, оказало на них *влияние* в той степени, в которой они не желают признаться, дало новое направление в развитии литературы и искусства. Я сознательно называю в первую очередь деятелей литературы и искусства, так как они, как правило, всегда на виду, на переднем плане. Но среди «шестидесятников» особое место занимают скромные, самоотверженные, передовые личности, которые занимались административной, практической работой в таких важных областях, как культура, печать, книгоиздание. Один из таких людей – мой друг – Назим Ибрагимов.

Знаю Назима более пятидесяти лет – еще с университетских времен. Поверхностное знакомство тех лет впоследствии переросло в дружбу, и этому есть причина – оба мы «шестидесятники», наше взросление пришлось именно на тот период, и мы формировались в одной и той же духовной атмосфере. Желание прочувствовать жизнь во всей ее объемности, необузданные юношеские мечты, наши надежды и иллюзии – были духовным пространством, объединяющим это поколение. А сейчас, когда мы оба перевалили семидесятилетний рубеж, наши хрупкие воспоминания – ностальгия по ушедшим годам, тоска по былому.

Я пригласил его на работу в Союз писателей, мы стали коллегами. Он с удовольствием принял это предложение и действительно оказал, благодаря своему богатому опыту организатора и администратора, большую помощь нашему Объединению. Особенно эти его качества проявились во время капитального ремонта нашего здания.

Иные ревностно относятся к этим искренним, дружеским отношениям «шестидесятников». Связи, построенные на местничестве, кумовстве, групповщине, на родственных отношениях – фальшивы, корыстны, преходящи. Так отчего же кажутся удивительными близость, взаимопонимание и родственные чувства, рожденные этим пониманием, наших современников, чья юность и молодость пришлись на одну и ту же эпоху, что прошли сквозь горнила столь схожих жизненных испытаний, общественно-политических катаклизмов, одних и тех же исторических событий, были свидетелями трагических дней, жили одними и теми же надеждами, разбитыми мечтами и огорчениями.

Назим Ибрагимов с ранних лет работал на высоких должностях – первый секретарь одного из крупных районов Баку, председатель Комитета, Главный редактор Энциклопедии, директор издательства «Азербайджан», даже являлся президентом теннисной федерации, но на каждой должности, в самых сложных ситуациях не менялось его заботливое отношение к людям. В том числе, отношение к людям, с которыми дружил долгие годы. Всегда оставался цельным человеком, хозяином своего слова, четко выполняющим свои обещания, работником изначально внимательным и заботливым к людям искусства, литературы.

По образованию Назим – геолог, как фанат тенниса – мастер спорта, испытывает свое перо и в литературе – он автор либретто оперы покойного Васифа Адыгезалова «Натаван». Но в какой бы сфере он ни трудился, Назим прежде всего издатель.

Профессиональный издатель с опытом полиграфиста, организаторскими способностями, художественным вкусом. В одном из своих интервью Назим говорил: «Издательский профессионализм совершенно особое дело. Мне очень жаль, что мы не озабочены подготовкой, воспитанием будущих издателей. Теряя издателей, мы лишаем писателей, поэтов рук, крыльев. Издательское дело – особая школа. Кто же будет создавать эту школу? Часть издательств испытывают материальные трудности, а часть мы уже потеряли».

Но вопреки всем этим трудностям, если мы употребим ныне модное слово «проект», в голове Назима всегда кружатся интересные проекты, и, к счастью, большинство из них он умеет претворить в жизнь. Именно по его инициативе и при самом активном участии вышли в свет первая персональная Энциклопедия – энциклопедия Узеира Гаджибекова (на азербайджанском и русском языках), энциклопедия Джалила Мамедгулузаде, энциклопедия, посвященная Мирзе Фатали Ахундзаде.

В дни празднования 75-летия нашего писательского объединения Назим активно участвовал во всех мероприятиях, составил и издал интересную книгу, отражающую историю нашей организации и ее структуру.

Именно благодаря продуктивным стараниям Назима, увидела свет прекрасно изданная двухтомная Антология – «1500 лет огузской поэзии», над которой я работал долгие годы.

И мою книгу эссе, посвященную классикам и современникам литературы и искусства, подготовил к изданию все тот же Назим Ибрагимов.

Пятнадцать лет назад в дни его 65-летия я написал статью. Хочу повторить и в сегодняшнем поздравлении абзац из той статьи: «Вспомнив знаменитых русских энциклопедистов Брокгауза и Эфрона, Назим говорит: «Ты и я должны работать как Брокгауз и Эфрон». Я соглашаюсь и единственно спорным остается вопрос – кто из нас Брокгауз, а кто Эфрон».

Для тех, у кого туго с юмором, вынужден объяснить, это всего-навсего шутка. Никто из нас не претендует быть Брокгаузом или Эфроном. Потому что он – Назим Ибрагимов, а я

АНАР

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

Поездка в Габалу

«…Снова и снова вспоминая ту поездку в Габалу, где осенний лес и горы, где текла неподвижная каменная река, а из придорожных кустов выглядывали улыбающиеся лисы...»

* * *

Ромашек горных аромат
Меня на эту гору звал.
О, мальчик, ты не виноват,
Что за руку меня держал!
Ты рвал ромашковый букет
И душу вкладывал свою...
Но где ты, мальчик? Тебя нет!
Окаменевшая стою...
Повсюду – свалка да стена,
Повсюду надпись «САТЫЛЫР»,
Покрылась ржавчиной трава,
Ромашковый покинут мир.
На склоне лет, на взлете бед
Один чертополоший бред!
И не течет в горах родник –
Он в шланг направлен, и проник
В чужую мутную струю,
Которой моют «Мерседес»...
Я этих гор не узна́ю,
И не пойму –
зачем я здесь.

* * *

...И я сегодня всё тебе прощу –
За лес цветной, за птиц осенних стаю.
Прощу тебе – и тут же отомщу
За горы, о которых я не знаю.
За блестки вулканических пород,
Крутой подъем, где не хватало сердца,
За плеск ручья –
он так манил раздеться! –
Бурлил и убегал за поворот...
Вела тропинка дальше, к водопадам,
Но ты сказал – мол, поздно, повернем...
А я мечтала взять с собою склон,

Полнеба унести – и без возврата!..
А мне хотелось распахнуть рюкзак
И сыпануть туда охапку листьев...
...Но, как, скажите унести мне, как
Всю эту роскошь и улыбку лисью?..

*** * ***

...А зима никак не наступала,
Легкий зной томился внутри вен,
Грозовое небо застревало
В половинках скрещенных антенн...
Было поле цвета фейхоа,
Моросил дождь по камням аула,
В занавески кутался квартал,
Провожая вдоль дороги хмуро...
И фрагменты строгих мизансцен
Выдавали эти телогрейки
С ценниками, лежа на скамейках
Вдоль облезлых магазинных стен.
Головы кружились у собак,
Вдруг нашедших в нас свое спасенье.
Заблудиться сча́стливо в горах
Нам с тобой мешало невезенье.
Превращались овцы в шашлыки,
Загорая дочерна в мангалах;
В траурных папахах старики
Взглядом поучали нас усталым...
А зима никак не наступала!..
Фиолетовый расцвел шафран,
И, с потоком слившись, вытекало
Солнце из открытых горных ран.
И скользили кеды по земле,
Утопали в невесомых листьях...
– Где ты?..
– Где-то. Ты – где?..
– А нигде.
Растворилась в стихоплётных мыслях.

Поездка в Хыналыг

Ну что ж,
была иль не была –
Я еду в Хыналыг!..
Где расписное небо
Спускается в арык,
Ступенчатые скалы
Остры, как ятаган
Там, где детишкам малым
Всю мелочь я отдам.
На кладбище булыжники

С наценкою лежат,
И там тропа к Всевышнему
Короче во сто крат.
Пусть мы там трижды были –
Я еду в Хыналыг!..
Чтоб отдохнуть от пыли
Кварталов городских,
Чтоб воспарить над пропастью
И окунуться мысленно
В бурлящие потоки
Каньонов живописных...

Орешник

...Я боюсь, что останется мало
И тебя, и меня, и всего...
Многолетний орешник усталый
Бродит нежностью, как вином.
Скорлупою изъеденной дышит,
Любопытствующим назло.
Мышь-полевка записку нам пишет:
«Вам с орехами не повезло!..»
Эти ветви, как сильные плечи
Богатырских прошедших времен.
И под ними нам любится крепче,
Упоительней рвется стон!..
И по воле земли этой райской,
В кавалькаде безумных ночей
Поплывем, взявшись за руки, дальше,
Под кружение лунных свечей...

В память о дворике в селении Чухурюрд

Веток хруст под каблуком –
Умирающая песня.
Сад, заросший лопухом,
Одичалым стал и тесным.
Там, где взору открывался
Упоительный простор –
Двор чужой обосновался,
Белокаменный забор.
А когда-то плыл, как песня,
Груш «лимонных» аромат...
Стал пустым, неинтересным
В одночасье дом и сад.
Вдоль дорожки от калитки...
Были праздными деньки,
Виноградной след улитки
Затоптали каблуки.
Там медовым Спасом пахло,

Подходил в печи пирог...
...А вот нынче безотрадно
Догорает уголек.

Городская дурочка

– Смотрите, городская дурочка!.. –
Шептали ласково деревья. –
– Приехала к нам на прогулочку,
Свернула от восторга шею.
Идет, и взглядом поедает
Все складки и отроги скал,
Коров пасущихся считает,
Забредшая в чужой квартал.
И голою рукою нежно
Счищает иней с наших плеч,
Прислушивается в надежде
Понять потоков горных речь.
К скале приблизившись, целует
В сосульках спящий водопад,
И ягоды ее балуют –
Сулят ей сладкий мармелад!
Остатки листьев темно-рыжих
Несет в подарок ей река,
И всё вокруг стремится выжить
Лишь для нее наверняка...

Ворона на бульваре

Вцепившись лапами в скамейку
Ворона принимала душ.
На фоне теплых майских луж
Спортсмены бегали в аллейке.

Под поливальную струю
Ворона крылья подставляла,
Как будто ей в родном краю
Так гадко жить вороной стало!..

...В Каспийском море танцевали
Шальные небоскребы твист,
А мы на пристани стояли,
И обдувал нас легкий бриз.

ыка nur

НЕБОЛЬШИЕ РАССКАЗЫ

Радости жизни

…Эх, как она полетела… От самого порога до кухонной двери, с двумя авоськами! Яйца оскорбленно чавкнули об пол. Наверное, там, на дне пакета, уже готова яичница-болтунья... Кошелек оказался посередине коридора, с широко распахнутым ртом – словно жаловался на истощение и несправедливость жизни. В руке осталась лишь одна рукавица. Надо же, споткнулась об собственный порог. Хорошо, дома никого нет... хотя одновременно и плохо, что никого нет, – нет свидетелей ее падения. А то бы все вместе посмеялись. Ей, например, одновременно и смешно, и больно до слез. Так больно, что она не может даже вздохнуть. Наверное, на левом бедре будет синяк. Да что там синяк – черняк! Если только она не доплетется до холодильника и не приложит вовремя что-нибудь холодное.

Когда ее дети падали, она подбегала, брала их на руки. Целовала в ушибленное место. Прикладывала к шишке спиртовый компресс и долго качала пострадавшего на руках… Но те времена ушли. Теперь какие-то другие, особые времена. Давеча ее внук навернулся, катаясь на роликовой доске. Так дочь не то что не подбежала к нему, она еще и крикнула: « А ну-ка встать! Никто не виноват, что ты упал». Да, действительно – никто не виноват. Это вполне педагогично. Она сама сорок лет преподавала в школе. Она любит, чтобы все было педагогично. Но если это безжалостно и жестоко, тогда как – педагогично или нет?.. Тут и запутаться недолго.

Так, надо во что бы то ни стало подняться. Я еще совсем не старая, говорит она себе, еще не так давно ноги быстро бегали... А ну-ка встать! – командует она сама себе. И действительно встает, и ковыляет к недовольно гудящему холодильнику. Она же обещала испечь блинчики! Вот и будут теперь блинчики из покореженных яиц. И надо успеть, пока никого нет дома. А то придут с работы и кинутся сразу к плите, даже рук не помыв. Будут толкаться у плиты, и каждый будет готовить себе сам, перегнувшись через ее спину. Один поставит кофе варить, и обязательно зальет им конфорку. Другой поставит кипятиться чайник носиком к стене и затуманит паром весь кафель. Третий станет поджаривать наколотый на вилку кусок колбасы и все вокруг закапает жиром. А свалят в конечном итоге все на нее, на ее стряпню!

«Мама, как ты не вовремя со своими блинами!»

«Мама, ну зачем нам твои метеорологические сводки? Мы же не пилоты, в конце концов…»

«Мама, зачем ты накупила поздравительных открыток? Это ведь все вчерашний день, сейчас все поздравляют друг друга через Интернет».

«Мама, прекрати кормить кота! Сколько можно объяснять, что он кастрированный, ему нельзя ничего жирного…»

У каждого в доме свой компьютер. Все расходятся по разным углам. И замолкают. Наступает мертвая тишина. А ей так хочется поделиться с кем-нибудь прожитым днем! Или что-то вспомнить из своей богатой педагогической практики. Она же просто лопнет, если ни с кем не поделится! Пусть хоть прогнозом погоды на завтра...

«Ух ты, какой снег пошел, – произносит она, стоя у окна. – Мелкий, но густой. А градусов всего-то три…»

«…Когда я проходила практику в детском саду, – начинает она вспоминать со-

бытия двадцатилетней давности. – Так вот, вижу – детям дают на тарелке котлету и бессовестно крошат ее... Я им говорю: да как же вам не стыдно? Это же *котлета*, она должна быть целой. Дети должны видеть, что такое *котлета* – круглая, румяная. Они ее сами должны разделить так, как им удобно…» Ей кажется, что она довольно увлекательно и эмоционально обо всем этом рассказывает. Но ее слушают, кивая лишь из вежливости… хотя вежливость и жалость нынче не в почете.

Когда ее что-то мучает, она звонит своим приятельницам или соседям. Спрашивает у них совета. Делится *своими* бытовыми секретами. А дочь, когда у нее назревают какие-то свои, невидимые проблемы, ищет на все ответ в немом, холодном и бездушном Интернете, и от этого лишь больше погружается в себя. Становится еще более замкнутой, раздраженной и злой…

Что-то она упустила в свое время. И теперь ей им всем не помочь. Хоть плачь.

…Она подставляет тарелку с блинчиками прямо под нос внуку. По монитору его ноутбука бегает огромная крыса с желтыми клыками, преследуя маленького человечка. Задача внука – дать человечку шанс спастись. Но он, похоже, рад своему промаху, и с невозмутимым спокойствием наблюдает, как эта чудовищная тварь, пусть и компьютерная, впивается в шею своей жертве, разрывая ее на куски, и как текут реки компьютерной крови… Она морщится. Ее мутит от таких жутких сцен, и она спешит покинуть комнату внука, даже не пожелав ему приятного аппетита.

«А ты знаешь, что мне сказал Эльханчик вчера? – заводит она, стоя сбоку от столика дочери. – Он мне сказал: «*Напряги свои куриные мозги!*» Ха-ха-ха – представляешь? Он мне показал параллелепипед, а я его назвала ромбом… И он мне так прямо и сказал – «*Напряги свои куриные мозги*…»

Она от души смеется над репликой своего внука.

«Мама, прекрати это!» – от негодования дочь подскакивает на стуле.

«А что такое?» – недоумевает она.

«Мама, ты помнишь, что я тебе сказала в детстве?»

«Нет, не помню, извини».

«А я напомню. Я сказала тебе: «*Не болтай глупости*». Всего лишь одну безобидную фразу. Вспомни, как ты на нее отреагировала!»

«Ну и как же я на нее отреагировала?»

«Ты побежала в спальню и со слезами бросилась на кровать, произнося: «*Вот и дождалась от любимой доченьки!*» Так вот, по сравнению с этой моей безобидной фразой твой внук тебя просто оскорбил. А тебе это кажется забавным? Нет, чтобы принять меры. Я не понимаю тебя, мама!»

«…Нет, я, пожалуй, перееду», – делится она с телефонной трубкой. Та ехидно помалкивает. – «Я чувствую, что никому здесь не нужна. У моей сестры есть дом… я тебе говорила? Да нет же, говорила… говорила… Что значит – «ваш дом будут сносить»?! Его ведь недавно отремонтировали!» – спорит она с телефонной трубкой, потирая ушибленный бок. Он все еще дает о себе знать.

Ей нельзя болеть. Когда она болеет, то становится невыносимой вдвойне. Пытается измерить всем температуру. Сует свои заледеневшие руки с вопросом: «у вас они тоже такие?», пытается всех напоить горячим чаем с ненавистной малиной…

Наконец, она отправляется в поликлинику.

«Закир, посмотри, что там у меня. Только не падай в обморок, ха-ха…»

Закир, молодой, но добросовестный хирург, наклоняется. Ощупывает ушибленное место.

«Уу-у-у!..» – произносит он.

«Что там у меня, Закир? Ты хоть скажи: я буду жить?»

«Еще как будете. Лет сто еще проживете.»

«Ой, спасибо тебе, Закир, на добром слове. Ты знаешь, со мной в молодости произошел такой смешной случай…»

По мере того как Закир слушает ее историю, его доброжелательная улыбка превращается в кислую мину.

Но она не тушуется, потому что вокруг нее собираются молоденькие медсестры в накрахмаленных колпачках, словно стайка белых голубей. Она счастлива, что ей дают вволю наговориться, слушают не перебивая. Качают головами и поддакивают. Одна история сменяется другой…

Так проходит лет сто…

Слушавшие ее медсестры давно превратились в высохшие мумии. Поликлиника – в музей. А ее дом – в космический корабль. И она летит, продолжая свои простые, бесхитростные истории. Из своей жизни.

Ее внимательно слушают звезды, даря свой ослепительно яркий, но холодный при этом свет. И она вместе с ними погружается в вечность.

Фура, летящая по песку

Как они оказались за маленьким столиком посреди пустыни? И притом совершенно одни… Странное было кафе. Кругом одни барханы. Ни единой живой души. В рекламном проспекте так и было сказано: «*романтическое кафе на двоих*». Вот только в чем именно эта романтика заключается, сказано не было. Возможно, в том, что столик был один, а их всего двое… Именно поэтому они поддались соблазну. То есть, это она поддалась. А он, как всегда, пошел у нее на поводу.

– Жрать охота, – вздохнул он.

– Может, надо было снова поехать на Мадагаскар, – вяло спохватилась она. – Там киты. Лемуры… Или махнуть в Испанию. Отведать приторное *Дольче долче*…

– Поздно, крошка, – отозвался он.

– Или же Ла-Пас, на высоте трех тысяч метров: индейцы, и все так дешево… Перу. Мачу-Пикчу: кольца *мараи*. Соленые источники…

– Забыла, как тебя тошнило от одного вида жареных морских свинок?

– Мадагаскар: стэйк из священной коровы зебу…

– Ты еще наступила там на морского ежа…

– И ты меня выхаживал… Австралия: мясо кенгуру…

– Которым вскармливали местных собак…

– Ты абсолютно неромантичен…

– Эквадор: Кито. Галапагосы… – он продолжил, с намерением ее поддразнить, перечислять все их совместные путешествия. – Новый Орлеан: мясо аллигаторов, *джамбаллайя*. Ницца: *буйабес*. Коста-Рика: плантации ананасов... Спагетти с черни-

лами каракатицы…

– Фу-у... – поморщилась она. – Хватит перечислять, в животе урчит.

– Владивосток: безвкусная *кукумара* в виде огурца с цветочком, икра морского ежа...

– Ты же терпеть не можешь морепродукты! – воскликнула она.

– Зато их вовремя подают, – ответил он, чувствуя, как ножки его стула погружаются в песок. – Не ты ли жаловалась, как осточертели тебе все эти поездки?

– Да, это так. Поэтому я и выбрала это странное романтичное кафе. Я сделала глупость?

– Нет. Напротив. Я почти уверен: еще, как минимум, час ожидания – и над нами закружат вертолеты, с которых, наконец, посыплются официанты в белых передниках и с подносами, полными яств, и с шампанским в ведерках…

– Ты все шутишь?

– Шучу. Должна же в чём-то заключаться романтика этого бл… кафе.

– Я тебя прошу – перестань выражаться хотя бы в такой день!

– А какой сегодня день?

– Годовщина нашей свадьбы. Ты меня просто удивляешь…

– А-а-а, прости, крошка, совсем запамятовал. Именно поэтому, вероятно, ты и выбрала это романтическое место.

– Да, именно поэтому. И кто тому виной, что здесь все так уныло и неопределенно…

Она взглянула куда-то вдаль. Там, на холмах, у самого горизонта, быстро двигалась темная точка.

– Ой, смотри, к нам, кажется, кто-то едет…

Точка быстро приближалась, вырастая в длинную фуру.

– Ну вот, – обрадовался потерявший было всякую надежду супруг. – Наконец-то нам подали целый самосвал еды! И морские гребешки, и икру, и шампанское…

…Огромная фура ехала прямо на них, вздымая тучи песка. В последнюю секунду супруги успели отскочить. Громадные колеса подмяли под себя столик. Вначале молодожены бросились врассыпную, но когда фура сбавила ход и, казалось, готова была остановиться – они приблизились друг к другу и крепко взялись за руки. Но тут фура развернулась и с жутким ревом вновь ринулась на них…

…Железная громадина гонялась за злополучной парочкой; и это продолжалось до тех пор, пока любители романтического ужина не выдохлись окончательно и не повалились на нагретый солнцем песок, судорожно хватая воздух широко раскрытыми ртами.

Фура остановилась. По табло, прикрепленному над ветровым стеклом, поползли красные буквы:

TO FINISH! ВЫ НАГУЛЯЛИ СВОЙ АППЕТИТ. МЫ ВАС ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Из кабины выбрался карлик в несвежем белом комбинезоне. Прямо на песок он поставил поднос. На подносе красовалась обыкновенная яичница с помидорами и копченые внутренности то ли ящерицы, то ли тушканчика. И еще стояли два стакана с самой обыкновенной водой.

– Приятного аппетита, – пискнул карлик. Потом залез в фуру, развернул ее и уехал.

Мораль сей басни такова...

Это было в классе седьмом. Или в восьмом – точно не помню. Короче: мне, как отличнице, учитель по литературе (он же по совместительству директор школы) дал почитать газету. Там был рассказ про двух блокадников – мужа и жену, которые в войну, чтобы с голоду не помереть, съели своего любимого кокер-спаниеля. И сами не долго прожили после этой трагедии.

– Сможешь написать краткое изложение? – спросил директор. – Ты же у нас отличница.

– Легко! – ответила я. А про себя подумала: «На кой? Ведь все уже написано». Ну да, очень трогательная история. Можно сказать, трагичная по своему содержанию. Директор знал, кому поручить изложение на данную тему, – в моей семье любят животных. У нас дома жили то кошки, то собаки, то хомяки с попугаями… а тут такая драма, что душу выворачивает наизнанку! Но спорить с начальством я никогда не умела. Вообще, кто спорит с директорами – тот себе жизнь укорачивает.

А жаль. Мне бы это в жизни ох как пригодилось.

Утром позвонила подруга:

– Предки укатили, – сообщила она. – Айда ко мне!

– Не могу.

– Это еще почему?

– Да тут такое дело, блин… – я коротко рассказала о поручении директора.

– Все равно дуй ко мне. И газетенку захвати. Вместе напишем.

Дома у нее мы хлебнули по бокалу сухого за встречу.

– Давай свой рассказ.

– Он не мой…

– Какая разница! Щас быстро набросаем – че там есть? Врубим «Бони М» и потанцуем на радостях.

– Там трагедия…

– Согласна. Сначала поплачем, а потом потанцуем.

Чтобы сэкономить время, мы решили в черновом варианте имена и отчества действующих лиц обозначать инициалами:

– Значит, так: П. П., он такой весь больной, идет, идет, и вдруг – бац прямо в лужу! За ним и жена его, А. Б., плюхнулась! А у них дома пес голодный. Сидит на полу на кухне. Весь слюнями изошел, несчастный, – последний в доме кусок мяса учуял на столе… А проглотить не смеет – все думает: там хозяева голодные, из лужи никак не могут вылезти… А они, ироды, его из ружья – бабаххх!

В середине этого нами сочиненного бреда мы обе валялись на полу, рыдая от смеха.

И никакого «Бони М» нам уже не надо было. На наш истеричный хохот прибежала соседка по лестничной площадке. Уяснив в чем дело, схватила со стола газетенку с душещипательной историей.

– Что вы тут хохочете, как две идиотки? Что здесь смешного? – возмутилась она, прочитав статью.

– Ни-че-го, – ответила я, заикаясь и хрюкая.

Но тут взгляд соседки упал на листок с нашей галиматьей. Прочитав ее, соседка уселась на пол между нами.

– Не забудьте добавить в конце мораль, – посоветовала соседка, утирая слезы.

– «Мораль сей басни такова: не надо было лопать пса!»

Тут на пороге комнаты появилась соседкина болонка. В зубах она держала здоровенный мосол.

– Во! – подруга ткнула в болонку пальцем. – Вторая часть супертрагедии назревает, под названием « Пришедшие из ада!».

– Ну я пошла, девочки, – сказала соседка, взяв болонку под мышку. – Будьте умницами. Много не шалите.

– Ты чего в вино подсыпала? – подозрительно спросила я, когда соседка закрыла за собой дверь.

– Ничего, – опешила подруга. – Нормальное вино. Остатки со дня рождения сестры. А правда, прикольно получилось?..

…Дома у меня уже почти не оставалось времени переделывать все заново. И я нашу сочиненную в пьяном бреду историю переписала в беловик как есть. Но при этом грамотно расставила запятые и полностью выписала имена героев.

Я не знаю, рыдал ли директор, читая мое изложение. Но в дневник мой он влепил такую жирную двойку, что аж дух захватило.

…Ну спасибочки тебе, подруга, за испорченную четверть!..

Подарок от Розы Люксембург

Кто придумал этот день – восьмое марта? Ах да, кажется Роза Люксембург с Кларой Цеткин, боевые подруги. Видимо, им в этот день страшно привалило счастья.

…А мне еще в этот день грозило небольшое мероприятие. Встреча с актерами, снявшимися в короткометражке по моему сценарию.

Просыпаюсь от звука пришедшей эсэмэски. Шарю по тумбочке в поисках мобильника. Вот он. Нашелся. Едва продрав глаза, читаю своим испорченным зрением: «*Ленка… маму твою. Солнышко вам в …*»

Увеличиваю шрифт… ага… «*Ленусь, поздравляю тебя и маму твою. Солнышка вам в душе!*» Ага, соглашаюсь я мысленно и смотрю на часы – девятый час. В десять я должна быть в парикмахерской. Нехорошо подводить Иришу. Сама напросилась. Умоляла. Впрочем, и ей лишний заработок не помешает.

«Как зайдёшь, сразу налево во двор. С заднего входа. У нас там ремонт».

Надо же. Всегда ведь заранее приводила свою голову в порядок. А тут – на тебе. День в день. Ладненько. Минут пять мечусь между окном и шифоньером, как рысь в клетке, – что же надевать? Вроде как дождь накрапывает. И шквалистый ветер ожидается. Придется мять прическу беретом. Поскольку зонт будет вырывать из рук.

Без пятнадцати десять. Бегу сломя голову. Захожу, как велено, с черного хода. Стучу в железную дверь. Тишина. Стучу изо всех сил. Мне открывает рабочий в заляпанных штанах. «Меня тут ждут», – поясняю я. Он молча кивает, впуская меня в пустое помещение, где нет никаких кресел и зеркал. На полу валяются обрывки обоев. Стоят ведра с краской. Посередине высятся козлы. Нажимаю на кнопки мобильного: «*Ириша, вы где?*» – «*Еду!*». Через двадцать минут она является с парадного входа, обрушивая на себя затягивающий двери полиэтилен. Снимает с себя кольца и сует их мне в руку. Сажает на маленький табурет, и я чувствую себя как в детстве перед приходом гостей. Я себя не вижу – смотреться не во что. Между нами шастают туда-сюда рабочие с малярными кистями. Фен в руке у Ириши не включается. Она переставляет мой табурет от стены к стене, ищет исправную розетку. Ага,

наконец фен зажужжал.

– Может, сначала брови? – подсказываю я ей. Она прислоняет меня к голой стене так, что я слышу «дыдын!» собственного затылка, вошедшего в соприкосновение со стеной, и что-то мне там выщипывает на лбу. Торопится.

– Ну вот, – радуется она за меня. – Будешь у нас красивой.

Рабочий на козлах неловко поворачивается, задевает ведро…

Бубух!

…ведро переворачивается в пяти сантиметрах от меня. Но брызги все же долетают.

Бегу домой. Надо еще успеть отмыться. В руке сжимаю чужие кольца. Да здравствует воровка!

…И зачем я так накрасилась? Все выглядят очень просто. Вплоть до француженки Пьер Коливье – хозяйки информационного центра. На ней какая-то индонезийская рубаха и никакого грима на лице. Режиссер – в потертых джинсах. Одна я в черном велюровом платье и с невероятной копной зашпаклеванных волос.

…После просмотра фильма какая-то старушка подходит ко мне и говорит: «Жуткий сценарий вы написали, деточка. Вот в наше время мы шли в кино как на праздник. Душой отдыхали. А у вас что? И никакой комедии я не заметила…».

… А у меня что?.. И никакой комедии. Ненавижу восьмое марта.

Вулкан страстей

Мы дружили семьями…

…он – полковник, она – преподаватель университета. Ах, какая пара! Оба красавцы, хоть в кино снимай. И жизнь – сплошной праздник. Собственный дом с камином. Как ни придешь – у нее физиономия вечно перемазана клубникой со взбитыми сливками. На столе икра черная. Под столом две разлохмаченные болонки – у них на ужин омары с шампанским…

Короче, мы к ним в гости – а они нам: «*Это наша будущая невестка, Марина (а-а-а-а!)… Это ее кружевное белье из Сирии (ва-ау!)… Спальный гарнитур из слоновой кости (о-о-о-о-о!)… Игрушки для будущего малыша (у-у-у-у!!!)*…

…Марина с огненно-красным маникюром. На шпильках (!), в модной шляпке с большими полями (!), ничего не делающая по дому… на шестом месяце беременности (о-о-о-о-о!)… В дальнейшем – наставляющая рога своему мужу (хи-хи-хи!)… После развода – умирающая от рака матки (ой!!!).

Спустя какое-то время:

«*…Знакомьтесь: это наша вторая невестка – Севиль. Лишь бы, стерва, не забеременела. А то на третьего внука средств уже нет*…»

…У него первый инсульт. Глаза уже не такие живые, не такие голубые. Он шаркает по дому, растягивая слова. Еле вспоминает, как кого зовут. Болонки сдохли. В доме грязь. Арабский спальный гарнитур продан за бесценок.

Она уже не мажется клубникой со взбитыми сливками. У нее понурый вид. Ишемия. Грибок ногтей. И все та же онкология.

…Спустя несколько лет их сын гибнет в автокатастрофе...

Все, занавес чужой жизни можно закрывать.

Отсюда вывод: обходи вулканы страстей, обходи как можно дальше. Иди, не

спеша, по протоптанной тропинке. Не оглядывайся на других и не завидуй чужому благополучию и достатку, – все это висит на натянутых нервах.

Если в душе сумбур, никакие питательные маски не помогут. А если в своей жизни совсем нечего вспомнить – вспоминай чужую, ту, что была намного интереснее и ярче, а потом сгорела дотла.

И не забывай, что там уже все умерли. А ты еще живая.

…Да, вот еще что: не злорадствуй. Твою жизнь это не поправит...

(…это я уже себе).

Вселенская катастрофа

– …Ты еще не знаешь, что такое проблемы! – резко оборвала она подругу и отключила мобильник. Будет знать, как жаловаться на жизнь.

Вспомнила – ей надо срочно бежать в ателье за летними брюками. Ну и пекло! А ведь всего лишь конец марта. Может, это и к лучшему – она наденет свой пестрый пиджачок, который давно дожидается ее в гардеробе, фасонистые брючки, и они пойдут сначала по Приморскому бульвару, затем зайдут куда-нибудь в кафе… День выдался на славу. Она же достойна того, чтобы что-то урвать в этой жизни для себя! И пусть у него в кармане на этот раз ни гроша – все будет за ее счет. Так теперь живут многие современные женщины. И не жалуются на судьбу.

Все получилось немножко не так: они прошлись по Приморскому, а потом зашли в шикарный бутик. Она купила себе потрясную кофточку. Потом еще помаду. Несмотря на приближающийся его день рождения, на подарок ему уже не осталось денег.

Изнывая под ярким солнцем, они решили отложить кафе на завтра. Ведь завтра еще один выходной… правда же?

– Да, – коротко согласился он.

И они пошли к нему домой. И она осталась у него ночевать. Ничего такого противоестественного в этом не было. Многие в ее возрасте уже остаются где-нибудь ночевать.

…А наутро они проснулись дрожа от холода. За окном шел снег и одновременно гремел гром и блистала молния.

– Голова сильно болит, – пожаловался он.

– У тебя есть какие-нибудь таблетки?

– Да откуда я знаю…

– Ладно. Я сейчас. В аптеку и обратно, – засуетилась она. И накинула почти на голое свое тело его куртку с капюшоном.

Но когда она через десять минут вернулась, ей пришлось долго стучаться в дверь. Пока дверь не открыла какая-то незнакомая девица и не швырнула в нее пестрый пиджак:

– Твое? Забирай. И больше никогда сюда не приходи.

…У себя в кабинете, за столом, заваленным канцелярскими папками, при свете керосиновой лампы, сидел Господь Бог – маленький, щупленький, бледный и усталый. Рядом со столом поблескивал медный телескоп на треноге.

– Та-ак, господа архангелы, – зловещим тоном начал Он. – Золотые мои юмо-

ристы. Школяры-самоучки… Что там у нас в плане погоды, кто мне ответит на этот простейший вопрос?

– Весна! – бойко сказал ангел, отвечающий за природные катаклизмы.

– Ой, здорово! – театрально вздрогнул Господь. – Смотри ты, весна... А что у тебя творится, ангел-недоучка?

– Так ведь сами говорили – первое апреля, день юмора, – виновато захлопал крыльями ангел.

– Ах, первое апреля, паршивец ты этакий! А психические травмы тоже входят в день юмора? За прошедшие сутки – восемь самоубийств. Крылья всем пообрываю! Кстати, вон еще одна жертва ваших утех маячит…

– Мы здесь абсолютно ни при чем, – сказал самый смелый из ангелов. – Это все Ваши эксперименты – изменения планетарных орбит, отклонение земной оси, метание астероидов и комет, и прочая фигня с точки зрения небесной механики….

…Закутавшись в чужую куртку, она долго бродила вдоль берега, не зная, как поступить. Броситься в волны моря или еще подождать?.. В ответ ее мыслям насмешливо хохотали чайки. И тут ее плеч коснулась чья-то рука.

Это был он:

– Ты где ходишь? Я уже все аптеки обегал… Вот, деньги из банкомата снял, нам на кафе хватит.

– У тебя там какая-то женщина. Она меня не пустила, – проговорила она посиневшими от холода губами.

– Какая еще к черту женщина?! Ты, наверно, двери перепутала. Нет у меня никакой женщины кроме тебя!..

Только вот без этих штучек...

– …Так вы утверждаете, что видели на пляже русалку?

На приеме у психоаналитика – молодой человек, весь какой-то заторможенный и загадочный. Вдумчиво излагает все то, что с ним произошло накануне:

– Да… то есть я сначала не понял, что это русалка. Она была такой… даже не знаю с чем сравнить. Изумрудные длинные волосы, тело тонкое. Почти прозрачное. Она гуляла вдоль берега и ела мороженое. Я еще подумал – откуда она его взяла на пляже в такую рань?..

– Гм, а вы всегда посещаете пляж именно в это время суток?

– Нет, нечасто. Просто выдался свободный от учебы день, и я подумал – почему бы не съездить на пляж, пока солнце не совсем встало…

– Вы не любите жару?

– Терпеть не могу.

– А кепку носите?

– Конечно, ношу. Но тогда она мне не была нужна, всего-то семь утра…

– И что же произошло дальше?

– А вам действительно интересно?

– Конечно. Ведь вы за этим сюда и явились, чтобы во всем разобраться.

– Да, но… я стесняюсь.

– Напрасно, – психоаналитик отхлебнул воды из стакана и как-то странно заерзал на стуле.

– Так вот, – продолжал молодой человек. – Она вдруг стала раздеваться…

– Серьезно? Русалка? А во что она была одета?

– Сначала я подумал, что это что-то вроде прозрачной накидки. Но потом я разглядел, что это были водоросли.

– А кто-нибудь еще это видел? Кто-нибудь еще присутствовал на пляже?

– Нет. Я же сказал, было семь часов утра. Я был один на пляже. Сидел на песке… Хотя…

– Да вы не нервничайте, спокойнее. Дальше что было?

– Она меня поманила…

– Чем?

– Хвостом.

– А что, рук у нее не было?

– Руки? Были. Длинные, тонкие, красивые руки…

– А хвост? Какой был хвост? Отвечайте!

– Что вы кричите? Психоаналитики не кричат.

– Молод еще поучать меня! Дальше, что произошло дальше?!

– Дальше я пошел за ней. Шагнул в море… и поплыл. Потом я увидел коралловый остров, – рассказывает молодой человек задыхаясь. – Да, там все было коралловое, розовое, даже цветы и свечи… Там был целый замок. И мы в него вошли…

– Не может этого быть, – психоаналитик приподнялся со своего стула. – Да как ты посмел, щенок?!

– А вот и посмел!.. да, я посмел. Не всё же вам…

– Молчать!

– …не все же вам бегать по песку голым, лавируя между камней, с криком: «Где ты, где ты, покажись! Дай до себя дотронуться!»

– Хорошо, допустим, вы с ней вошли в коралловый замок, – проговорил психоаналитик, устало промокнув носовым платком влажную лысину. – Дальше что происходило?

– Дальше?

– Да, что было дальше, черт подери?

– Ничего особенного. Мы просто нанизывали коралловые бусы на длинные водоросли…

– Ффу-у! – с облегчением выдохнул психоаналитик. – Сейчас я вам выпишу лекарства и ступайте домой. Договорились?

– А как же?..

– Я сказал – ступайте домой, и никаких пляжей! Ни сегодня, ни завтра и ни послезавтра, вообще пока забудьте про них.

Молодой человек ушел, понурив голову, так ничего и не поняв: привиделось ли ему все или нет? Была ли русалка на самом деле? И видел ли он действительно на пляже в непотребном виде того, у кого побывал только что на приеме? Или все было лишь забавной галлюцинацией, вызванной напряжённым учебным годом?..

– Марьям-ханум! – позвал он, подойдя к небольшому бассейну. Бассейн находился в закрытом помещении, куда мало кто имел доступ. – Марьям-ханум, я, конечно, не против того, чтобы вы мне доставляли иногда пациентов. Но на этот раз вы, по-моему, перестарались…

Он раздраженно швырнул в бассейн палочку от эскимо. В ответ из воды поднялся длинный изумрудный хвост и дружески шлепнул психоаналитика по щеке.

– Вот только без этих ваших штучек! – он поморщился, отступая на шаг.

Баба Люба протестует

Баба Люба рассказывала на ночь всякие забавные страшилки. О планете под названием Земля. Праправнуки слушали ее с огромным интересом, хотя баба Люба вроде ничего такого особенного и не рассказывала, – подумаешь, какой-то там мурлычущий кот, огромный, полосатый… или белый медведь, скачущий по льдинам... и белая Медведица в ночном небе…

– Баба Люба, а что такое льдина? Она какая?

– Мокрая и скользкая?

– И с какой головой был кот?..

Дети доставали бабу Любу своими вопросами. Но она была терпеливой.

– С очень большой головой был кот, – поясняла она. – Мордастый. Усатый. Один раз стал он с клубком ниток играть. Клубок покатился до самого океана и нырнул в него. Но его тут же выбросил обратно своим хвостом огромный кит…

– Баба Люба, а кто такой кит? И где он живет, и что такое океан?..

– Ой, баба Люба, опять что-то воет…

– Говорят, это оборотень просыпается. Смерч за собой несет...

– Так это всего лишь ветер, глупые, – поясняла баба Люба. – Я ещё девчонкой была, помню, как он во все щели свистел…

– Ой, баба Люба, вот ты и проболталась, а говоришь, ничего о себе не знаешь…

– Не знаю, честно, не знаю, и ничего я вам, дорогие мои, не скажу, – упрямилась баба Люба.

– Ну, баба Люба, ну пожалуйста, – стали умолять ее из всех углов. – Мы никому не скажем. Так ведь не бывает, чтобы вы совершенно о себе ничего не знали…

– Ладно, ладно. Но только это было так давно… Я совершенно ничего не помню.

– Так не бывает, – не верила ребятня.

– Я помню большие деревья, – начала баба Люба. – Большие, толстые, и много-много ветвей на них…

– Они разговаривали? – спросил кто-то.

– Может, по-своему и разговаривали. Только люди их перестали понимать. И природа отплатила им тем же…

– А что такое природа? – встрял кто-то неугомонный. Но баба Люба этот вопрос проигнорировала.

– Однажды я залезла на одно такое дерево, а как слезть-то – и не знаю… – продолжала она.

– А зачем же вы туда залезли?

– Да Бог его знает. Может, от волков спасалась.

– А волк – это кто?

– Это такая большая собака, которая живёт в лесу, где очень много деревьев.

– А Бог? Как он выглядит?

– Это тоже собака? – понеслись вопросы со всех сторон.

– Совсем вы меня запутали, – смутилась баба Люба. – Сейчас же ложитесь спать. Поздно уже…

…Бабу Любу пригласили в кабинет Президента Планеты, – видимо, кто-то подслушал ее сказки и донес.

– Вы человек пожилой, солидный, – начал Президент. – Условия вам хорошо известны – никаких личных воспоминаний…

– Знаю. Но детям не помешает знать историю их предков, и...

– Вам сколько лет, баба Люба? – перебил ее Президент.

– По документам – лет сто, – не очень уверенно сказала она.

– Так вот, мы уже шестьдесят лет, как осваиваем эту планету. И детям пока что совершенно не обязательно знать о существовании Земли. Им предстоит осваивать новые территории. Строить новую жизнь. Выращивать совершенно другие растения и совершенно других животных. И если вы им дальше будете впаривать про ваши леса, поля и реки, то я вас понижу в должности. Вы у меня станете обыкновенной поломойкой.

– А воду откуда я буду брать, чтобы мыть полы? – не растерялась баба Люба.

– Что значит – откуда? – приподнял брови Президент. – Из резервуара, разумеется.

– А в резервуар откуда ваша вода поступает? – прищурилась баба Люба.

– Из рек, разумеется…

– А где находятся эти реки?

– Известно где... Да что вы себе позволяете? – возмутился Президент.

– Вот вы и проболтались, – подбоченясь, баба Люба напустилась на Президента.– Такие, как вы, вовсю пользуетесь награбленным у Земли капиталом. Содержите дешевую рабочую силу. А потомкам вдалбливаете, что никакой другой планеты не существует, кроме той, что вы создали для них и которую они должны в поте лица для вас осваивать!..

– Вон! Баба Люба, вон! Долой с моих глаз! На опустевшую Землю, туда, где царят нищета и беззаконие, если вам это так нравится!

– Ладно, – она тряхнула головой, и волосы рассыпались по ее плечам. – Я улетаю, – продолжила она и направилась к метле, которую принесла с собой и прислонила к стене в углу. – И если еще через шестьдесят лет вы не образумитесь, я подам жалобу в межпланетный Суд…

– Баба Люба!!! – взревел Президент.

– Я не баба Люба, – сказала она не оборачиваясь. – Я ведьма из придуманного мною прошлого…

В дебрях вранья

…Есть люди, которые завидуют даже тогда, когда ты лежишь в белом лакированном гробу с золотыми кистями! «Вот это похороны! – восклицают они. – Мне бы так подохнуть…»

Одна из моих подруг была настолько завистливой, что переговаривалась только эсэмэсками, – у нее все время перехватывало дыхание. Вот я спокойно разбираю шмотки у себя в шкафу. А она мне: «Как делишки?»

«Да вот, – отвечаю, – приятель организует выставку своих работ в Париже, меня пригласил. Думаю, что мне туда надеть? Все-таки друг детства, как-никак, авось любовь прежняя вспыхнет».

Телефон замолк.

«Ну так как, летишь?» – булькнула эсэмэска через три часа.

«Лечу. Почему бы нет? Удобно расположилась в кресле «Боинга», потягиваю бургундское. Смотрю в иллюминатор. Ой, кажется, крыло горит!» – пошутила я, сидя перед телевизором.

«Сильно горит?» – эсэмэска так и сочилась тайной надеждой.

«Да так. Не очень».

…И вдруг – елки зеленые! – сообщение в выпуске новостей о том, что какой-то «Боинг» действительно рухнул в Средиземное море!!!

«Ты живая?» – булькает эсэмэска.

«Кажется, да. Летчик попался умный. Надел парашют, взял меня под мышки и как прыгнет из аварийного люка вместе со мной! Мы с ним сейчас сидим на самой толстой ветке самого высокого банановой дерева! Болтаем ногами. Он прижал меня к себе. Сейчас целовать начнет. А внизу золотой песок и пенистые волны океана».

«Чтоб ты сгорела», – булькает эсэмэска.

Так я и горю. Аж щеки пылают от своих бурных фантазий… Ах, какой летттттчик…

Ну почему меня не было в этом упавшем «Боинге»?!

Бедность – не порок

Длинношеее животное погружает влажный нос в карман его пиджака, перегнувшись через ограду. Он легонько хлопает жирафа по шелковистой пятнистой шкуре, чтобы тот отстал.

– Чего это он? – любопытствует его спутница.

– Наверное, привык, чтобы его посетители кормили, – отвечает он.

Они идут дальше, мимо вольера с зебрами. Одна из зебр подбегает к ограде, оскалившись, будто готовясь заржать по-лошадиному.

– Я сейчас… – говорит его спутница и куда-то убегает.

– Здравствуй, Костик. Не узнаешь?

К нему подходит плюгавый, плохо одетый мужичонка. Хлопает его по спине.

– Неужели не узнаёшь? А ведь в одной помойке когда-то рылись. И это было вчера ещё… Ишь, вырядился-то как… Даже модный галстук оторвал где-то… Ха-ха-ха! Неужто в престижном районе по помойкам шаришь?

– Да пошел ты!.. – опомнившись, он отпихивает от себя плюгавого. – Отцепись, ненормальный!

– Нет, так просто тебе от меня не отделаться, – не унимается плюгавый. – Говори, кто ты есть на самом деле. У Толяна глаз – рентген! Ты же не тот, за кого вчера себя выдавал?

Тут возвращается женщина с пакетиком арахиса для жирафа и зебры.

– Кто это?.. – она с изумлением смотрит на плюгавого.

– Так… – морщится он. – Прицепился вот. Обознался. Ошибся.

– Толян никогда не ошибается! – вскипает плюгавый. – А это кто – твоя бабенка? Понятно, вид делаешь, будто мы незнакомы…

Он и она идут дальше. Плюгавый мужичонка отстает. Он и она заходят в дорогой ресторан, что рядом с зоопарком. Садятся друг напротив друга. Только теперь она замечает у него на пальце кольцо с крупным бриллиантом.

Поймав ее взгляд, он поясняет:

– Я раньше был ювелиром.

– А теперь ты кто? – интересуется она и тут же спохватывается: – Прости за бестактность…

– Ничего-ничего, – он снисходителен. Все меняется в этом мире, не так ли?..

И тут он замечает сквозь широкую витрину ресторана, как какой-то бомж копается в мусорном баке. Он вскакивает и, оставив спутницу за столиком, мчится к мусорным бакам...

Сквозь витрину ошеломленная молодая женщина видит, как ее прилично одетый друг дерется с бомжом, отталкивая того от мусорного бака. Она даже может прочесть по его губам: «Отойди, урод, это мои баки и мой район!..»

Бедняга бомж, разинув рот, слабо сопротивляется. Бедняга не в силах понять, что же происходит. Наконец, начинает мутузить обидчика. Женщина видит, как красный щегольской пиджак на ее спутнике трещит по шву, градом сыплются пуговицы…

«Я тебе покажу, как в чужой мусор совать свой нос!» – грозит ее мужчина бомжу.

Женщина вскакивает. Хочет выбежать на улицу. Дорогу ей преграждает официант:

– Вы что, ничего больше заказывать не будете? Тогда оплатите счет, пожалуйста.

Она, пребывая в глубокой растерянности, вздыхает и достает свой ридикюль.

– Это ваш кавалер там куролесит? – осведомляется официант. – Понятно. Разобрало. Еще и не такое бывает. Сочувствую. Крепитесь.

– Да ничего вам не понятно! – в сердцах кричит женщина и выбегает из ресторана.

Она быстрым шагом удаляется от ресторана и проклятых мусорных баков. В ее сумочке шуршит пакетик с арахисом.

Он догоняет ее, останавливает:

– Извини. Так вышло, – объясняет он тяжело дыша. – Привычка старая сработала. Мне часто по ночам снились мусорные баки, будто они на меня переворачиваются. А я лезу по ним вверх…

– Кто ты? – перебивает она его, с ужасом глядя на изодранный пиджак. Теперь от мужчины воняет почти так же, как от бомжа.

– Ладно, я сейчас тебе все расскажу, – решается он. – Только не уходи, выслушай. Я действительно в прошлом был ювелиром. Потом обанкротился. Обнищал. Стал копаться в мусорных баках. И однажды обнаружил там крутого. Он лежал возле бака с простреленной головой, а на его мизинце был вот этот перстень. Над трупом склонился какой-то пьянчуга. Я его пнул и оттолкнул. Снял с мертвого перстень. Изготовил точно такой, только фальшивый, разумеется. А настоящий продал. Купил тачку, одежду и так далее…

– Я тебе не верю, – с горечью говорит она, чувствуя, как все ее надежды разбиваются в пух и прах.

– Хорошо, – усмехается он. – А как насчет того, что я инопланетянин, и в одном из мусорных баков покоится потерянная мной рация? Теперь мне не достучаться до моей родной планеты…

– Животные должны бояться инопланетян, – неожиданно говорит она. – А к тебе жираф так и льнул.

– Так это мой жираф, – улыбается он. – И мой зоопарк. Я его продал. Я все продал.

– Зачем?

– Странный вопрос. Чтобы жить, разумеется.

И тут рядом с ними возникает тот самый плюгавый, из зоопарка, и печально изрекает:

– А знаешь, Костик, нам с тобой было очень даже неплохо, когда мы копались в отбросах. Только перстень по праву принадлежит мне. Я его первый заметил. Как ловко ты вытащил его у меня из кармана! Верни перстень, ведь у тебя все есть…

Плюгавый дергает мужчину, которого назвал «Костиком», за руку. Потом принимается стаскивать с волосатого пальца «Костика» перстень с бриллиантом. Завязывается драка…

…Нет, решительно говорит себе женщина, с меня хватит. И убегает, не разбирая дороги…

…Но на следующий день она все же почувствовала, что хочет вернуться. Женское любопытство взяло верх. Ей захотелось все выяснить. И она вновь пришла в тот же самый ресторан. Официант встретил ее с подозрительно дружелюбной улыбкой.

– Как поживает наш дорогой Костик? – осведомился официант.

– Откуда вы его знаете? – задала встречный вопрос женщина.

– Кто ж не знает нашего бывшего повара Костика, больного на всю голову? Он от алкоголя совсем сдурел, – то он инопланетянин, то владелец всех зоопарков в мире…

– Он добрый, – попыталась защитить женщина своего бывшего возлюбленного. – Его любит жираф!

– Как же, добрый, – усмехнулся официант. – Тут у нас один богатый клиент потребовал стэйк из антилопы гну… у богатых, знаете ли, свои причуды, особенно когда напьются… Так вот, Костик, чтобы угодить такому клиенту, схватил нож и помчался в зоопарк. Его там три часа усмиряли. Все к косулям за ограду лез, чтобы им там горло перерезать. После этого его и посадили. Заказывать что-нибудь будете?

…Она знала, куда ей направиться, – в зоопарк, куда ж еще. Ноги сами понесли. Ведь там она могла узнать еще кое-что. Вынув из сумки пакетик с арахисом, она подошла к вольеру с жирафом и… увидела сидящего в клетке Костика, на котором был уже не костюм, а какая-то замусоленная жилетка, почти на голое тело...

– Костик, что ты здесь делаешь? Ты что-то нехорошее задумал, Костик? – залепетала она.– Оставь бедное животное в покое!

– Я не Костик, – пьяно возразил ее бывший возлюбленный. – Вы перепутали, дамочка…

– Тс-с-с-с, только тихо. Костик – это я, – донеслось до нее откуда-то сверху. Она подняла голову. На нее смотрел жираф. – Только не выдавайте. Меня ищут инопланетяне. Хотят судить за утерянную рацию…

Крепостные стены

…Ему нравится буйная молодая зелень, покрывающая деревья с ног до головы. Ласковый тополиный пух. Он любуется перистыми облаками на ярко-голубом небе. Наблюдает за тем, как по утрам носятся стайки птиц. Еще он любит смотреть на старые крепостные стены. Ему порой снятся фантастические сны, будто волны разгоняются, со страшной силой ударяют в эти стены и разбивают их. И море разливается у него под ногами, и он, слетая с подножки своей инвалидной коляски, плывет – легко и непринужденно, удивляясь тому, что его тело такое послушное и живое, и он может преодолевать любое пространство и любое препятствие на своем пути...

На самом деле все совсем по-другому. Он просыпается каждое утро, лежа на боку, и ждет, когда его умоют, причешут, посадят на коляску, накормят нехитрым завтраком и выкатят в уютный маленький дворик, откуда будут видны крепостные стены и редкие прохожие, пересекающие сквер.

…А еще он будет ждать Ее… когда она по-деловому, и в то же время с какой-то подростковой ленцой, пересечет их дворик с пустым бидоном, предназначенным для свежего парного молока. Подойдет к соседской двери и постучится. Соседка откроет, с любезной улыбкой примет у нее из рук бидон и скроется в глубине дома. В ожидании молока небольшого росточка девушка примется носком кроссовки выковыривать камушки из земли; руки ее при этом всунуты в карманы, а золотистая челка свисает со лба… Иногда она поднимет свой взгляд, но все куда-то мимо него. Порой ее взор слегка скользнет по инвалидной коляске с сидящим в ней человеком, не задерживаясь надолго.

В такие минуты ему очень хочется спросить у нее: «Как дела?». Но всякий раз он не может набраться решимости. А она примет у соседки наполненный бидон и осторожно, но грациозно пойдет назад вдоль крепостной стены. И скроется за углом.

– Принесла?

– Принесла, – ответила она, ставя бидон на кухонный табурет.

– Ну так вскипяти, будь добра, а то у меня руки в мясе. Долму делаю.

– Опять долму?

– Что значит «опять»? Сегодня внучек с зятем придут. Накормить надо. Молочком парня попоить.

– Больше я не пойду за этим вашим молочком.

– А поподробнее?

– Надоело. И эта соседка… Ну, мать того инвалида, который сидит в коляске… стала ко мне приставать.

– Чушь какая-то. Как она может к тебе приставать?

– А вот так! Говорит: «Мой мальчик хочет с тобой пообщаться». Ну мам, зачем она так со мной? Ведь он же инвалид!

– Черствая ты у меня выросла. Все думаешь, тобой одни принцы интересоваться должны.

– Причем тут принцы?! – она топнула от негодования ногой, рассматривая себя в зеркале. Даже бледные веснушки на носу потемнели от гнева. Хорошо сейчас брату – он в армии. И сестре хорошо. Замуж успела выскочить. Живет отдельно, только в гости заходит. А ей… каково ей одной? Неужели до скончания века так и придется таскать эти бидоны с молоком? Разве нельзя обойтись магазинным? Она еще раз топнула ногой. Густая челка рассыпалась по гладкому, слегка вспотевшему лбу.

– Не хочу таскать это молоко! Не хочу таскать это молоко! Не-хо-чу…

В ее глазах заблестели слезы.

– Не хочешь, и не надо. Пусть твой маленький братик остается без молока. И бабушка больная тоже...

Мать подошла сзади и обняла ее локтями:

– Глупышка. Все еще у тебя образуется. Все переменится. Вечным ничего не бывает. Тебе еще эта дорога от молока до дому покажется самой романтичной...

О, Господи! Ничего себе успокоение…

Он уже неделю как ее ждет, а она все не показывается. Он ведь даже имени ее не знает… кроме того, которое выдумал для нее сам. И ему кажется, что выдуманное имя ей очень подходит. Теперь все будет по-другому. Он непременно с ней заговорит, во что бы то ни стало! Ведь он на самом деле очень даже симпатичный парень. Ему так прямо все и говорят. Все его двоюродные братья и сестры так считают. И еще он умный. Он много читает и смотрит всякие телевизионные передачи. Так что ему есть о чем поговорить.

…Вот она, идет, как всегда непринужденно, покачивая пустым бидоном. Кулачком стучит в соседскую дверь. Отчего-то она сердита сегодня.

Сейчас он развернет коляску и подъедет как можно ближе, так, чтобы она не смогла избегнуть его взгляда…

Соседка отдает ей бидон с молоком. Она неловко разворачивается и…

– Ой блин! – произносит она в испуге, роняя бидон. Затем молча подбирает его и поспешно уходит. За ней тянется молочная дорожка: вот-вот догонит и вернет... Но на ее пути оказывается ямка, в которую стекает все молоко, образуя сероватую жижу.

Он смотрит ей вслед не в силах что-либо предпринять. Вместо слов у него выскакивают лишь гласные звуки: – Э-э-э! И-и-и! Ы-ы-ыы!

Коляска ходит под ним ходуном. Руки рассекают воздух. Он готов поплыть, но, как всегда, не в состоянии даже приподняться.

Увидеть фламинго и...

– Если бы человеку, как и насекомому, предложили выбрать сезонную спячку, то я бы не задумываясь выбрала для своего сна самый разгар лета…

Автобус изрядно тряхнуло.

– А? Ты, кажется, что-то сказала? – приоткрыл ты один глаз.

– Я сказала, что отпраздновать первое июля туристической поездкой за город, на юг, в субтропики – это именно то, чего нам с тобой недоставало…

Ноги было абсолютно некуда девать. Они оказались зажаты между нашими сиденьями и высокой перегородкой, отделяющей нас от водителя. Зато впереди все было видно как на ладони. Беда только в том, что, как назло, ни впереди, ни сзади ничего не происходило, – смотреть было не на что. Сплошная верблюжья колючка и здания, похожие на одинаковые серые коробки. Где-то в стороне остался историко-археологический музей под открытым небом с его наскальными рисунками.

Можно было попросить водителя поставить «Энигму», – она как ничто другое подошла бы к пейзажу за окнами. Но диск с записями мы с тобой забыли дома. А сам водитель вряд ли имел представление о том, что такое «Энигма».

– Потерпите, щас проедем Билясувар и вы увидите роскошное озеро с фламинго, – пообещал гид.

– Хотим фламинго! Хотим фламинго! – заскандировал весь микроавтобус.

Вскоре озерцо открылось взору. На нем вдалеке виднелись белые неподвижные пятнышки – множество пятнышек. Микроавтобус остановился.

– Где фламинго?!

– Куда вы, идиоты, там охрана! – предостерег гид энтузиастов, ломанувшихся вдоль зарослей тростника, ломанувшихся с целью обогнуть озеро и чтобы как-то приблизиться к чуду природы. Некоторые уже приготовились вообще ползти по-пластунски.

Повезло лишь обладателям камер с мощными приближающими объективами.

Все прильнули к экранчикам камер. Да, это действительно были фламинго! Розоватой окраски, длинношеии, с толстыми дугообразными клювами. Но – всего лишь изображения. Вживую насладиться фламинго было, похоже, нельзя.

Несолоно хлебавши, тяжко повздыхав, экскурсия продолжила свой путь.

– …Во-первых, лето только началось, – продолжил ты прерванную дискуссию. – И начало лета совпало с воскресным днем. Во-вторых, из-за гриппа мы пропустили благоухающий май. Его нам надо компенсировать этой изумительной во всех отношениях поездкой.

– Спасибо, хоть этим утешил. Аж на душе полегчало.

Шел всего лишь двенадцатый час, а зной уже стал невыносимым.

Водитель включил спасительный кондиционер. Но очень скоро тетеньки на задних сиденьях проснулись и стали жаловаться на проникающий им во все места холод.

Какой еще к черту холод, когда мое платье еще не успело высохнуть от пробежки по историческому кладбищу, где мошкара устроила в ушных раковинах велодром с оглушительным звоном?! Покойничкам-то что – они посапывали себе глубоко под землей. Там было хоть и сыро, зато тенисто.

Я без всякого стеснения заявила, что при первой возможности ловлю такси и уезжаю обратно в город, предварительно отобрав у гида ту сумму, что он слупил с нас обоих. На что наш худосочный и довольно-таки выносливый гид моментально пообещал прекратить подобные вылазки из автобуса. Кладбищ больше не будет, поклялся он.

Следующим испытанием стали водопады. Вернее, это был один водопад, устроившийся в тени. Он ниспадал тремя прозрачными струями со слоистой каменной глыбы и бурчал, жалуясь на жизнь. Под мосточками пенились узкие речушки. Летали огромные яркие бабочки и сиреневого цвета стрекозы. И бродили повсюду здоровенные голодные псы.

…Водопад надоел довольно быстро. Мы поехали пить горячий чай на террасе рядом с минеральными источниками. Внизу протекал мутный канал, посередине которого плыли чьи-то шлепанцы. Для небольшой нашей компании вполне хватило двух сдвинутых столов под коротким навесом. Радоваться жизни помогли свежевыпеченные гутабы. Пока мы их дожидались, вспотевшую атмосферу попытался разрядить наш гость из Эстонии. Он всю дорогу сыпал простенькими анекдотцами, видимо, происхождением из тех же краев. Наподобие:

«*– Марта, пойди посмотри, есть ли у нашего мясника свиные ноги.*

Марта подходит к мяснику и долго заглядывает ему под фартук. Потом возвращается домой и говорит: «Нет у нашего мясника свиных ног, они у него чело-

вечьи...»

...Но особенное впечатление здесь производили шлепанцы. Куда ни глянь, они валялись пестрой грудой на столах – яркие, дешевые, любых фасонов и размеров, в прозрачных упаковках и без, и были предназначены, вероятно, для тех, кто сбил себе в кровь ноги, прыгая по камням и горам.

– Хоть бы этим разжиться на сегодня, – подумала я вслух.

– Не смей! – яростно прошипел ты, намертво прижав ладонью свой нагрудный карман. – Это все, что мы имеем на сегодняшний день!

Но поздно – жалкая десятка уже перекочевывала в руку продавца.

– Переодевай, – стукнула я о землю шлепанцем сорок седьмого размера. – Пусть хоть ноги подышат.

Наши кеды перекочевали в рюкзак. А мы пошлепали по искусственному берегу удивительно живописного канала, обходя непонятные кучи и все, что жужжало, шевелилось и источало жестокие ароматы и считалось в этих местах приемлемым и даже полезным, а также любуясь лошадьми и верблюдами. При этом нам приходилось отмахиваться от фотографов, назойливо предлагавших сфотографироваться верхом на верблюдах и лошадях. На свое намокшее – хоть выжимай – платье я уже не обращала внимания. Оно было пестрым – и на том спасибо. Благо еще и панама защитного цвета висела на ушах. Если верить твоим часам, приближался вечер, а стало быть, и конец всем нашим мучениям. Вот только воздух становился все более неподвижен и, казалось, сгущался прямо на глазах. Видимо, надвигалась гроза. Нам не хватало только хорошего ливня на прощание! А так – все уже случилось, что могло случиться. И ободранные о колючки икры, и укусы насекомых во все оголенные места...

И тут ты подхватил с земли какое-то усатое чудовище, и давай его баюкать и восхищаться им.

– А знаешь ли ты, что это такое? – загадочно улыбаясь, произнес ты.

– Знаю. Божья тварь. И, в отличие от нас, сумасшедших, она находится у себя дома.

– Ты не поняла: я держу у себя на ладони как минимум две тыщи баксов!

– Да ну, неужели? Помечтать не вредно – на перегретую голову...

– Да стоит мне только предложить этого жука какому-нибудь серьезному коллекционеру... – продолжал ты.

– Ладно уж, клади в карман свои две тыщи и пошли догонять группу...

(Группа, пыхтя, отдуваясь и беспрестанно утирая чем попало струящийся пот, взбиралась по крутой лесенке из камней).

– Не буду, – сказал ты вдруг. – Он живой.

– Логично, – согласилась я.

– А ведь его придется убить и засушить, – уже шепотом сказал ты.

Ты все еще не знал, что делать с бедным насекомым. Жук на твоей ладони тоже не знал, что ему делать. Его до этого никто так долго не тискал. Он вертел своей треугольной башкой с длинными усами и озадаченно перебирал лапами.

– Придумай ему имя и отпусти, в конце концов, пока он сам что-нибудь против нас не придумал, – предложила я. – Ну, например, Кузя, или Жучка, или... Армагеддон!

– Армагеддон, Армагеддон, – согласно закивал жук. – Только отпустите, ради Бога, а то меня моя Армагеддонша заждалась...

Я у тебя одна

Мою прабабку мой прадед уволок прямо из цыганского табора. Увез на лихом скакуне в свою глухую деревню. Любовь была такая, что она ему родила двенадцать детей. Она бы родила и больше, если бы прадеда-коммуниста не связали кулаки и не бросили под поезд.

– …Я уже не раз слышала эту историю, – сказала моя молодая бабушка моему молодому дедушке.

– Так что же? – ответил он ей. – Моя мать нарожала моему отцу дюжину душ, а ты мне даже третьего родить не хочешь?

Время было тяжелое, послевоенное. Аборты были запрещены – страна нуждалась в рабочей силе.

…И беременная бабушка решила действовать по-своему. Она залезла на самый высокий шкаф и спрыгнула с него. Потом еще и еще раз. Но крепкий бабушкин организм ни за что не хотел расставаться с вызревающей в нем крохотной новой жизнью.

И моя дорогая тетушка появилась-таки на свет.

Я помню, как меня, замотанную в одеяльце, качали длинные теткины руки. Хотя, по всеобщему мнению, помнить я этого категорически не могла.

С того момента как я научилась ходить, я всюду следовала за своей любимой теткой. Она на кухню – я за ней. Она в комнату – я за ней. Ведь моя тетушка была самой красивой на свете. Ни на кого не похожей, разве что только на свою бабку-цыганку. Но бабка-цыганка к тому времени так постарела, что выглядела подобно скрюченному огурцу зимнего засола. И вряд ли уже помнила свой цыганский табор.

Поначалу тетушку мое постоянное присутствие нисколечко не раздражало. Она брала меня с собой на прогулку и на дневные сеансы в кино. Но вот как-то раз…

– Ты куда? – изумленно спросила я, стоя в дверях.

– На кудыкину гору, – ответила тётка, крутясь перед зеркалом. Она мазала тушью и без того черные густые ресницы. Тщательно укладывала феном и без того шикарные темно-каштановые волосы.

– Ты никуда не пойдешь без меня, – упрямо сказала я. И в знак протеста стала биться лбом об пол, встав на четвереньки. Но тетку лишь развеселило мое поведение.

Ах так, подумала я, тебе смешно, что я остаюсь одна?..

Я напялила ее единственное платье и стала расхаживать по комнате, подметая им полы.

– Сейчас же снимите с этой дурехи мой наряд, – потребовала тетка у моих мамы с бабушкой. Тогда я собрала в кучу подол платья и завязала его узлом на своей талии, чтобы оно не мешало мне бегать по кругу.

А после стояла на балконе в единственном платье своей тетушки и громко рыдала ей вслед, глядя, как она уходит со двора, одевшись во что-то другое… я уже и не помню, во что именно она нарядилась. Зато помню, покатывались все соседи, тоже высыпавшие на балконы…

…Через несколько дней в нашем доме появилось ***Нечто***.

Вальяжный и наглый, с набриолиненными волосами, он вошел в гостиную, выбрал самый удобный стул и уселся на него, закинув ногу на ногу.

Я в это время на кухне доедала домашнюю кабачковую икру, щедро сдобрен-

ную чесночным соусом. Едва покончив с ужином и не умывшись как следует, я побежала в комнату, чтобы посмотреть – что там вытворяет моя тетка с этим мерзким, сразу не понравившимся мне типом.

– Какая лапуля. Это что, твоя сестренка? – надел на себя маску умиления теткин ухажер. Ему во что бы то ни стало захотелось показать свою любовь к детям.

Ну так! Вмиг очутившись у него на коленях, я что есть силы дыхнула ему в лицо чесночным ароматом.

– Фу, фу, фу! – сбросил меня с колен наобриолиненный тип. Его физиономия жутко перекосилась. – Терпеть не могу этот запах!

– А я могу, – ледяным тоном заявила тетка. – Я просто обожаю этот запах!

С того случая ухажер моей тетушки куда-то исчез. Его словно сдуло порывистым ветром.

Потом моя мама и бабушка поссорились, и я была вынуждена временно ходить к няне.

…Я сидела на животе у няниного сына Юрочки и ела сытные блинчики со сметаной, попутно вытирая руки о его рубашку. И вдруг…

– … Пошли домой, – услышала я теткин голос у себя за спиной.

– Да? А как же он? – я ткнула пальцем в Юрочку.

Тетка посмотрела на Юрочкины очки, заляпанные сметаной…

…Так появилась на свет моя двоюродная сестренка Александра, которая стала ходить за мной по пятам и разбрасывать мои куклы, а позже – покушаться на мои платья...

…И я никому при этом не жаловалась...

Сашка рано вышла замуж. А я – нет. Так сложилась судьба, что я даже и не думала об устройстве своей личной жизни. И как только моя любимая тетушка не искала мне женихов!..

…Лет через двадцать я отгуляла на свадьбе у теткиного внука.

Я вышла на кухню, чтобы налить себе чаю. На столе громоздилась грязная посуда. И тарелка с горячими оладьями.

Тетка сидела за столом, держа между пальцами сигарету, и дымила как паровоз.

– Не смотри на меня так, – сказала она. – Во мне уже нет ничего интересного.

– Да я просто… я – ничего, – забормотала я.

Тут подошел теткин французский бульдог и смачно засопел мне в колено.

– Идите, прогуляйтесь, – тетка взглянула на часы. – Как раз время.

– Угу, – ответила я и пристегнула поводок к ошейнику. Повела собаку к выходу. – Арриведерчи, – пошутила я, обернувшись.

– Адью, – ответила тетка, выпуская дымок изо рта. – Верь в удачу. И в чудеса тоже верь. Они иногда сбываются.

Я захлопнула за собой дверь. И мы с бульдогом направились к лифту.

АЛЕКСАНДР ГЛАДКОВ

(Россия)

ПРАЗДНИЧНОЕ

8 марта. Странный праздник. Поздравляем «по гендерному признаку»: спасибо за то, что Вы женщина. Нелепо. В самом деле, день матери – понятно, день отца – тоже понятно. «Поклонись до земли своей матери и отцу до земли поклонись. Мы пред ними в долгу неоплаченном. Свято помни об этом всю жизнь». Даже нахально пробивающий себе дорогу на чуждой славянской земле день Св.Валентина смотрится намного логичней. Ты меня любишь? Я тебя тоже. «Пою тебе, бог Гименей! Ты соединяешь невесту с женихом...» А тут, женский день?

Скажите, кто сейчас помнит, что назывался он некогда Днем международной солидарности женщин, что породили его нью-йоркские работницы в марте 1857 г., потребовавшие для себя 10-часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения и равную с мужчинами заработную плату, а окончательно внедрила этот день в сознание масс в 1910 г. некая немецкая революционерка, популярная в Советском Союзе в качестве названий фабрик, теплоходов и улиц – Клара Цеткин? Помилуйте, какая по нынешним временам солидарность!.. Тут бы в собственной фамилии мирно просуществовать.

И все-таки мы не забыли этот праздник, и все же любим его. По свежим социологическим опросам, в России 90%(!) населения, равно и женщины и мужчины, считают 8 марта своим домашним праздником и собираются его отмечать.

С женщинами все ясно: цветы, парфюмерия, новое колье, новая шубка, комплименты, признания... Дорогая, не утруждай себя. Я сам сбегаю в магазин за продуктами, приготовлю обед, выгуляю ребенка и собаку. Ну а мужчинам-то к чему все эти хлопоты и стрессы? Вспомните заснеженные российские города 70-х, 80-х, куда еще не проникли законсервированные израильские и голландские розы. Каких трудов стоило добыть нежные, отлетающие от неосторожного прикосновения абхазские мимозы! Как пошутил один известный остроумец: женский день в начале весны придумали дети Кавказа, чтобы цветы продать подороже…

Да, милые дамы, жены, подруги, матери, дочки, коллеги, любовницы, придется признаться. Мы, представители пусть не прекрасной, но тоже не последней половины человечества, любим этот праздник нежно и трепетно, в том числе и из эгоистических соображений. В самом деле, когда еще можно так проявить свою щедрость, блеснуть остроумием, талантом и красноречием, придумать мадригал, экспромтом выдать изящный комплимент (взятый из собственной головы, а не из Интернета), подольститься, загладить вину. «Подольститься просто очень. Это делал я не раз. Сверхдоверчивые очи в государстве синих глаз». Браво, Александр Дольский!..

В конце концов, 8-е марта хороший повод лишний раз сказать ей, что ты ее любишь и жить без нее не можешь. Ну не чухонцы мы сдержанные, а горячие парни – славяне, казахи, осетины, евреи... И вот это вот: «Урхо, ты меня не любишь!» «С чего ты так решила, Хельга?» «А когда ты последний раз говорил мне о своей

любви?!..» «Хм, 25 лет назад на нашей свадьбе. Если бы что-то изменилось, милая Хельга, я бы тебе об этом непременно сообщил».

Нет, это не про нас. Да, что скрывать, мы любим женщин. А кто не любит женщин, тот не мужчина.

С праздником, драгоценные вы наши!

Постскриптум: автор обращает внимание почтенных читательниц и читателей, что все приведенные выше цитаты взяты из произведений других авторов. Но он хотел бы завершить свои размышления по поводу 8-го марта собственными непритязательными виршами, навеянными знаменитыми строками Пьера Жана Беранже «Прощай вино в начале мая, а в октябре прощай любовь».

Полемика с Беранже

Прощай вино в начале мая,
А в октябре прощай любовь.
Но этот тезис забывая,
Мы женщин воспеваем вновь

В начале марта. Век познания -
Как изменилось все кругом!..
И в октябре звучат признания,
И в мае нет проблем с вином.

Противоречья неуместны,
Какая, право, благодать,
Подняв бокал в уютном кресле,
Им комплименты расточать.

И эти льстивые завесы
Надежды ясной и простой
И моралисты, и повесы
Несут, как крест судьбы мужской.

А томный Эрос, пролетая,
Безумный лепет слышит вновь.
Я пью вино в начале мая,
И круглый год пою любовь.

ЛЕОНИД ЗАЦ

(Германия)

CHERCHEZ LA FEMME

Считается, что Международный женский день придумали в 1910 году две подружки-социалистки Клара Цеткин и Роза Люксембург, а уже на следующий год он отмечался в нескольких странах.

Существуют разные версии того, почему в качестве Женского дня было выбрано именно 8 марта. Мне наиболее забавной представляется следующая. Идея проведения такого дня у Розы и Клары возникла ранней весной, незадолго перед еврейским праздником Пурим, связанным с именем библейской женщины Эстер (Эсфирь). В том году Пурим пришёлся на 8 марта. Вот подружки и решили, недолго думая, именно этот день объявить Международным женским днём. Но еврейские праздники отмечаются по лунному календарю, а Европа к тому времени уже давным-давно жила по Грегорианскому. Так и получилось, что Международным женским днём стало 8 марта.

В Советском Союзе этот день имел статус государственного праздника, хотя, на мой взгляд, это не вполне логично. Ведь подружки-социалистки задумывали его как день борьбы трудящихся женщин за свои права и свободы, по крайней мере, равные с теми, что имели мужчины. В Советском же Союзе, как известно, с этим было всё в порядке. Там женщины на равных с мужчинами могли работать, например, на строительстве железных дорог и в горячих цехах, водить трактора. Они обладали равными с мужчинами избирательными правами и в дни всенародных волеизъявлений дружно голосовали за «единый блок коммунистов и беспартийных», выбирая одного кандидата из одного возможного. Они были полностью свободны. Например, от собственности и прочих обременительных вещей.

Один московский писатель, человек пожилой, когда его молодая жена при посторонних говорила какую-нибудь глупость, обычно устремлял на неё пристальный взгляд. Когда она, наконец, замечала этот взгляд и во всеуслышание спрашивала: «А что я такого сказала?» – он, чтобы не доводить ситуацию до полного абсурда, произносил: «Да нет, ничего особенного, можешь говорить всё, что хочешь. Ты ведь женщина свободная, и главная твоя свобода – это свобода молчать».

А вообще-то в советские времена 8 марта был одним из наиболее популярных в народе праздников, потому что изначально заложенное в него политическое содержание было практически выхолощено, во всяком случае, – забыто. Его отмечали просто как день женщин, даже эпитет «международный» вспоминали редко. Весенний праздник, день женщин, день любви – ведь о празднике всех влюблённых, дне святого Валентина, тогда практически не знали.

С первых чисел марта на всех московских рынках цены на цветы взлетали до небес. Мало кто знал, что изысканный букет можно было купить в маленьком магазинчике-щели около Центрального дома актёра, на улице Горького, но и туда в эти дни надо было занимать очередь задолго до открытия.

Когда 8 марта официально сделали нерабочим днём, одна женщина у меня на

работе прокомментировала это так: «Ну, вот. Ещё один подарок мужикам. Женщин и без того в этот день отпускали».

Действительно, по установившейся традиции 8 марта, если оно приходилось на рабочий день, в большинстве учреждений обычно с утра женщин поздравляли, дарили им цветы, устраивали небольшой банкет, после которого виновниц торжества отпускали по домам, а у мужчин продолжался рабочий день. Правда, надо оговориться, что продолжался он своеобразно – за банкетным столом.

Однажды у нас в отделе во время такого банкета наступил сакраментальный момент, когда всё уже выпито, а до конца рабочего дня ещё далеко. Поскольку с производственной дисциплиной было строго, и уйти раньше времени явилось бы её серьёзным нарушением, то решили по установившейся традиции «послать гонца» в ближайший магазин. Скинулись по рублю. Вопрос о том, что брать, вино или водку, решили вполне демократично, подбрасыванием монеты. При этом нашёлся один малодушный, неуверенно промямливший: «Мужики, а, может быть, больше не стоит, может, лучше попроектируем». Ему резонно ответили: «Хорошо. Встанет на ребро – пойдём проектировать». Выпала решка.

В ожидании «гонца» предались воспоминаниям, связанным с Женским днём. Александр Николаевич, один из ветеранов института, человек немногословный, припомнил такую историю:

– Работал у нас когда-то один солидный мужик, Палыч.

При упоминании этого имени другой ветеран, Ефим Яковлевич, как бы предвкушая удовольствие, заёрзал и расплылся в улыбке со словами: «Точно, Саня, было, было. Я помню».

Тем временем Александр Николаевич продолжал:

– Ему тогда было лет под пятьдесят. Он был высокого роста, такой представительный, положительный. И вот мы так же на работе отмечали 8 марта. Хорошо посидели, душевно. Палыч, как положено, «принял на грудь», но до дома добрался самостоятельно. По дороге даже купил букет цветов жене.

Дома он решил поставить цветы в воду. Взял вазу, налил воды и… уронил. Ваза – вдребезги. Ну, что поделаешь? Палыч достал веник и стал подметать. А, подметая, поскользнулся и шлёпнулся на осколки стекла, сильно поранив свои, так сказать, филейные части.

Человек он был основательный, несуетливый. Всё, что делал, он делал аккуратно. Он взял пластырь, ножницы, встал перед трюмо, спустил штаны и заклеил раны пластырем. После этого докончил уборку, лёг на диван и уснул.

Вернувшаяся домой жена будить его не стала, а утром выдала такой монолог: «То, что ты хорошо набрался на работе, я поняла. Что вспомнил обо мне и купил цветы – спасибо. Что разбил вазу и всё убрал – я тоже поняла. Но скажи на милость, зачем ты заклеил пластырем всё зеркало?»

Свой рассказ Александр Николаевич завершил под общий хохот. Из тех, кто слышал его впервые, больше всех веселился Валера Пенкин, хороший парень, сам большой прикольщик.

А на следующий день Валера пришёл на работу, мягко говоря, в странном виде. Его лицо было покрыто царапинами и ссадинами. С учётом того, что ростом он был под метр девяносто, для достижения такого эффекта должно было произойти что-то экстраординарное. Предположить, что накануне, по дороге домой он ввязался в какую-то уличную историю, было трудно. При всём своём весёлом характере человек

он был разумный и вполне цивилизованный. Несмотря на общее недоумение, никто не решался спросить его о случившемся. Просто из деликатности. Сам же он держался необыкновенно серьёзно… целых минут сорок, но, в конце концов, раскололся.

Здесь надо сказать вот о чём. Валера был женат. Его жена, Люда, работавшая в нашем же институте, в соседнем отделе, незадолго перед этим родила и находилась в декретном отпуске. Говорили, что у неё были проблемы с молоком. Молока было мало.

По дороге домой Валера подошёл к газетному киоску купить «Вечёрку». Там его внимание привлёк красочный плакат. Валера купил его и, придя домой, пока Люда возилась на кухне, повесил в комнате на самом видном месте.

Вошедшая в комнату Люда просто не могла не увидеть этот шедевр наглядной агитации, призывающий к борьбе за повышение удойности.

Нам же оставалось только убедиться в том, что призыв получил самый энергичный отклик.

А через много лет мудрый Михаил Генин сформулировал мысль о том, что, если существуют домашние хозяйки, то, значит, где-то должны быть и дикие.